

Галина ТАЛАНОВА

г. Нижний Новгород

## БЕГ

## ПО КРАЮ

ПОВЕСТЬ  
журнальный вариант

## 1

Вот и всё. Лотерейная шапка пуста. Все билеты раскручены и прочитаны. Дальше одинокая и немощная старость. Медленное переползание изо дня в день, что похожи друг на друга, словно подсолнечные семечки, которые она пристрастилась лузгать по вечерам, сидя на своей уже давно обшарпанной кухне. Целый ворох ошурков, похожих один на другой, которые слетали невзначай со стола, зацепившись за протёртый рукав байкового халата, и застревали в щелях разошедшего пола, поблёскивая оттуда обнажившимися белёсыми зубами, нещадно изъеденными кариесом. Жизнь без целей. Последнюю цель жизни она достойно выполнила: три новеньких памятника из чёрного мрамора, соединённых полукруглой карминовой аркой, напоминающей заходящее за горизонт солнце, что уютно расположилось на фоне трёх мачт-крестов от затонувших кораблей. Все близкие уплыли. Только ей ещё предстоит долгое плавание по серому безлюдному морю на плохо управляемом

корабле. Руки почти не слушаются капитана. Их всё тяжелее поднимать и держать ими штурвал. Крутить штурвал ещё тяжелее. Старое колесо заржавело и давно не смазано. Скрежет страшный – и не поймёшь: то ли это в штурвале скрипит, то ли льды скрежещут об обшивку корабля, как у Амундсена. Но тот-то хоть покорял Северный полюс... А ей-то что покорять? И так ясно, что впереди вечная мерзлота... Она уже приближается. Кончики рук давно ледяные, как у снежной бабы. Два неловко слеplенных кулачка... Закоченевшие пальцы вцепились в метлу – ладонь не разжать... Метлу выпускать нельзя. Она поддерживает в порядке тротуары, чтобы дорожка всегда не запорошенная была, чтобы остановившиеся прохожие в сугробы не встали. Только вот пальцы не гнутся почему-то... Участковый врач принёс мячик наподобие теннисного. Сказал, что им хорошо разрабатывать негнувшиеся пальцы, ставшие похожими на какие-то узловатые корнеплоды, выдернутые из грядки. И сердце тоже давно ледяное. Как будто под анестезией. Сделали укол – и

чувствовать перестала. Только вот слегка перекосило, но это ничего. Это птица с одним перебитым крылом не взлетает, теряя равновесие... А ей-то куда теперь лететь? В тёплые края поздно: перелёта не осилить, а гибнуть она уже не хочет. Зачем гибнуть, если и так под наркозом? Пингвин на льдине, мягко укутанной белыми сугробами, как ватой и бинтами в операционной (или саваном?), в море ушедших на дно парусников.

Впрочем, ей ещё уготовано, наверное, пережить своего кота. Кота кличут Карабас. Так назвала его Василиса, её дочь, за то, что кот не был учёным. Он не только не рассказывал сказок, но долго и упорно отыскивал каждый раз себе новый горшок в чьей-нибудь брошенной тапке. Кот был грязно-рыжим, словно крашеное пасхальное яйцо. Сейчас кот раскачивался на занавеске, грозя обрушиться на свою голову гардину. Лидия Андреевна вдруг подумала, что она в чём-то даже похожа на этого кота... Она тоже любила раскачивать ситуацию до тех пор, пока что-то не случалось: или гардина с грохотом опрокинутого дома падала, или с пронзительным шуршанием срываемого маскарадного костюма разрывалась ажурная занавеска, или рушилась сама стена шалаша, утянув за собой наглухо привинченную к ней портьеру.

Она прожила счастливую, но трудную молодость. Впрочем, и в сорок пять — она считала себя рябиной, прихваченной лёгким морозцем, тем, от которого исчезает порядком надоевшая осенняя грязь, а ягоды перестают горчить и оставлять на языке терпкий вяжущий вкус, сковывая готовые сорваться с губ слова, и становятся наконец сладкими.

Думала ли она когда-то в своём по-своему счастливом детстве, родившись в деревянном домишке с туалетом на улице, ходя по расквашенному нудными осенними дождями и пьяным весенним половодьем бездорожью в сельскую школу, находившуюся за четыре километра от дома, о том, что будет когда-нибудь жить в крупном городе в доме на главной набережной с видом на Волгу, в четырёхкомнатной «сталинке» с потолками высотой в три метра; будет иметь мужа, которого бы хотели заполучить все её подруги, и двоих прекрасных детей, да кавказскую овчарку и кота в

придачу, и к тому же станет важной персоной на работе, зарабатывающей ничуть не меньше своего благоверного?

Нет, не думала. Почему Бог, даруя одной рукой, отбирает другой? Чтобы она поняла, что была счастлива? Что имеем, не храним, потерявши, плачем... Но она-то хранила. Тогда почему?

## 2

В то далёкое лето подруга Лидии Андреевны, тогда просто Лидки, позвала её на дачу к однокурснику своего любимого. Отправились шумной студенческой компанией, втиснувшись в субботнюю электричку с рюкзаками и сумками, пухлыми от жратвы и дешёвой выпивки, с гитарами и спиннингами наперевес.

Однокурсник оказался из тех домашних интеллигентных мальчиков, к которым деревенская Лидка относилась с усмешкой: щупленький заморыш в роговых очках с синюшной кожей, как у курицы, долго хранящейся в морозилке. Казалось, что ему не очень-то было уютно в их шумной пьяной компании, он всё время вбирал голову в опущенные плечи и жался к стене, будто хотел слиться, как тень, с нетёсаными досками на веранде, стать таким же серым и незаметным... Он совсем не чувствовал себя здесь хозяином — и ребята спокойно разгуливали в ботинках с налипшей на них глиной по всем пустым комнатам, рылись в глубоких ящиках столов, доисторических шкафах и буфетах, кладовках и сарайчике с многочисленными удочками и мормышками... Но он ловко затопил печь, сложенную совсем не так, как она привыкла видеть у себя в селе, а как-то чудно, наподобие камина, который она видела в кино: можно было смотреть, как пламя весело облизывает и пожирает натасканные из-под веранды отсыревшие поленья, сперва густо чадающие удушливым дымом. Свет не включали: приближались самые длинные летние дни... Сидели в полумраке и смотрели на эти огненные языки, заходящиеся в странном языческом танце, отбрасывающем на стену диковинные тени, напоминающие пляску жизни и смерти... Она тогда даже подумала: «А почему

пляску смерти, когда жизнь только начинается?» Ведь всё у неё впереди, всё лучшее — впереди! А позади осталась старенькая, покосившаяся, поросшая сизым мохом изба с холодным туалетом во дворе; коричневое школьное платье с аккуратными заплатками на локтях, с белыми воротничком и манжетами, на которые она надевала чёрные сатиновые нарукавники, чтобы сохранить эту белизну манжет до конца недели, как велела им их класная руководительница; устойчивый запах перегара по ночам; мат, от которого она натягивала на голову подушку, чтобы суметь до петушинных криков чуток поспать; тугое козье вымя, из которого сбегает в ведро звонкой струйкой весеннего ручья молоко.

Жила она тогда в общежитии, обитали в комнате они втроем ещё с двумя сокурсницами. Все девушки были из области, из малоимущих семей. Дети из семей побогаче жили в основном на съёмных квартирах, общежития тем просто не давали. Девочки постоянно говорили о том, что надо искать женихов: это единственный способ зацепиться за город после получения диплома. Можно, конечно, найти работу и снять комнату на двоих, но дальше-то что? И они настойчиво знакомились, по-деловому обсуждали между собой потенциального жениха, бегали за ним, но как-то так получалось, что потенциальный претендент на их руку и сердце почему-то не только не боролся за их руку (бог с ним, с сердцем, стерпится — слюбится...), но смотрел на них словно сквозь стекло... И вскоре вообще исчезал, рассасывался, будто дымок от сигареты, что выкурили где-то на задворках пионерлагеря. Но они тут же цепляли следующего, старательно развешивая паутину распахнутых глаз, нежащихся в тени своих ресниц и лениво стреляющих в проходящего мимо аккуратно сложенными галками взглядов; рассыпая осколки заливистого смеха, напоминающего звонок притормаживающего трамвая; маня, словно готовые сорваться с места косули, своими длинными ногами... Но паутину быстро обрывал шатающийся по переулкам города ветер — и девочки тихо всхлипывали в подушку от невозможности реализовать намечтанное. А Лида сидела, будто красна девица у окошка,

и ждала принца. Ваньку она не хотела, нагляделась она на этих Ванек, стремительно превращающихся в забулдыг с красной рожей, сливовым носом и заплывшими в щёлочку, будто у поросся, буркалами, собственную зарплату от которых приходилось прятать в жестяной банке с крупой... Поэтому, когда она познакомилась с Андреем, что-то щёлкнуло в её мозгу и замкнуло: «Больше такого шанса в твоей жизни не будет. Не упusti. Профессорский сын. Квартира. Дача. Связи».

Нет. Сначала она его даже и не восприняла как потенциального избранника. Он был не в её вкусе. Некое такое мамочкино растение, не отрывающее своего носа от книжек. Он всегда знал, как ответить на любой вопрос преподавателя, и любые задачки щелкал как орешки, ударив молоточком. Девочки, казалось, его не интересовали совершенно. Но одна из подружек начала постоянно жужжать об Андрее. Она, пожалуй, тоже не была в него влюблена, но очень хотела остаться в городе и постоянно говорила про то, что это шанс. Капли её слов падали Лидочке на башку, не давая сосредоточиться на электромагнитных волнах, которые у неё никак не усиливались до нужной амплитуды, а, наоборот, беззаботно исчезали, будто волны в волосах от накрученных на них бигуди под осенним, сеющим сквозь сито дождём. Капли эти продолжали падать и когда Лидочка собиралась провалиться в тёмный и глубокий колодец сна, оставляя на поверхности расходящиеся круги, что тут-то и начинали причудливым образом интерферировать... Она не заметила того чудесного процесса зарождения чувства. Просто в один весенний день она с удивлением поняла, что боится, вдруг Андрей обратит внимание на её подругу. И уже буквально тихо её ненавидела, до солёного вкуса во рту прикусывая губы, чтобы не сказать той что-нибудь гадостное, выдававшее Лиду с головой, которую, задержав дыхание, она старалась не высовывать, плавая в мире своих причудливых фантазий, где поселился ОН. И это было не то, чтобы «городской, с пропиской». Нет, она уже скучала по нему и отыскивала глазами в толпе сокурсников. Отмечала боковым зрением и держала на мушке, фиксируя его передвижение, залегши под со-

седним бугром. Удивительное чувство любовь! Как и почему мы всё-таки отыскиваем из множества людей одного, при виде которого сердце начинает давать перебои, а улыбка идиота, будто после вколотой ему дозы транквилизаторов, начинает блуждать на губах?

Почему, когда Андрюша впервые решился пойти её проводить после случайной вечеринки, у неё от счастья сердце подпрыгнуло, словно теннисный мячик? Почему ей так хотелось нахамить другу Андрея, увязавшемуся за ними третьим лишним и не понимающему, в чём он, собственно, провинился, когда она огрызалась на него как собачонка, у которой изпод носа стянули лакомую косточку?

Она потом долго злилась и не решалась подойти сама. Уж такая она была. А Андрей тоже проходил мимо. Встречались глазами в студенческой толпе, всматривались до напряжения и рези в глазах, но друг к другу почему-то не подходили, боялись, что не оправдают ожидания друг друга, растягивали процесс предчувствия счастья. У неё и глаза стали фасеточными, как у стрекозы. Находила его безошибочно где-нибудь с краю в толпе открывшимся боковым зрением, посылала импульс — и знала, что он тоже видит её сутулую спину, застывшую в напряжении сгорбленным знаком вопроса и боящуюся собственной тени.

Когда и как она, не ведавшая физической любви, вдруг так сильно захотела оказаться в его объятиях, почувствовать тяжесть его тела и вкус его губ?

Может быть, тогда, когда сидели на дне рождения в общаге, а стульев не хватало — и поставили деревянную скамейку, что притащили из вестибюля и на которую все они втиснулись, только тесно прижавшись друг к другу бёдрами? Делали вид, что не понимают, что соприкасаются так близко, как в её жизни с мальчиками никогда ещё не было, чувствуя разгорячённое бедро соседа, от которого закипала кровь. Или тогда, когда протискивалась сквозь строй вытянутых коленок, опоздав после перерыва на продолжение пары, на ходу дожёбывая буфетный пирожок, и почувствовала мужские руки у себя на талии, большие и лёгкие, будто уверенный взмах весла, рассекающий тишь и гладь и выманивающий чертей из тёмного

омута? Ах, эти руки! Лидочка тогда не знала, что с ней такое... Ворочалась всю ночь вообще без сна, простыню сбила комом, оставившим на бедре розовые полосы, похожие на расчёсы от укусов насекомых, перекадилась на обнажившийся полосатый матрас в жёлтых разводах и бурых пятнах. Мучилась от необъяснимого томления и удивления своим фантазиям, в которых она елозила ногой не по грязному матрасу, а по шёлковому горячему телу, покрытому щекотавшим её пушком волос.

Стояли первые тёплые дни, когда прохожие стягивали с себя капустные одежки, уже вышедши на улицу. Тащили куртку или плащ, перекинув через плечо... Улыбались майским лучам, подставляя лицо свету, поворачивались к нему, как раскрывающийся цветок к окну. Надевали чёрные очки, чтобы не ослепнуть. Старательно обходили последние лужи на асфальте, оставшиеся от таяния снегов. Газоны напоминали зелёный коврик у входной двери, по ним хотелось пройти, чувствуя, как отсыревшая за снеготаяние земля пружинит, будто поролон. И вообще казалось, что ты не по тротуару идёшь, а паришь, наполненный счастьем от полноты жизни, точно шарик, надутый гелием.

Спустились с откоса к реке, осторожно взявшись за руки. Лидочка чувствовала себя маленькой девочкой, ведомой за руку через густой лес, где деревья сплелись ветвями без листьев. Пробираться физически было тяжело, но свет лился, будто его черпали ковшом и выплёскивали на ветки с набухшими почками, кое-где высунувшими зелёные языки. Рука её была надёжно зажата в большую загрубевшую ладонь.

Нашли скамейку под вековым дубом. Андрей потянул её за руку, как тряпичную куклу, и посадил к себе на колени. Неловко плюхнулась, чувствуя, как учащённо бьётся её сердце и кровь бухает в висок, точно волны разбиваются о скалы. Притихла, съёжилась, прижалась к шуплой мальчишеской груди, чувствуя холодные руки, осторожно ползущие ужом по впадинам и буграм её тела... Холодный нос потёрся о её нос; мокрые губы неловко ткнулись ей в щёку, гусеницей медленно поползли и замерли на минуту, чтобы чудесно превратиться в ба-

бочку с нервно трепещущими крыльями, порхающую по её раскрывшимся навстречу губам.

Потом шли по полупустынному городу... Перебежав дорогу в неподобающем месте, наткнулись на ограду, которую им надо было обходить почти целую остановку.

— Перемахнём? — предложил Андрей.

И вот уже её подхватили под коленки — и она обвивает напрягшуюся от тяжести её тела мужскую шею, чувствуя, что снова сердце в груди стучит, как ускоряющийся поезд. Мгновение — и она на земле по ту сторону барьера. Мгновение полёта над землёй, с душой, наполненной чем-то искрящимся, с надеждой на чудо, словно весело бегущие пузырьки в новогоднем бокале шампанского, миг парения, который она почему-то будет помнить всю оставшуюся жизнь.

### 3

Собираясь на следующее своё свидание, с изумлением думала о том, что ей опять хочется оказаться на какой-нибудь укромной скамеечке, примостившись замурившейся кошкой у Андрея на коленях, мурлыкающей от того, что её почесывают за ушком. Но Андрей почему-то и не думал искать скамеечку. Наматывали круги километр за километром по пыльному городу, держась друг от дружки на расстоянии полметра. Случайные знакомые или сокурсники. Говорили ни о чём. Лидочка терзалась мыслями, что снова в её мозгу кусающимися муравьями, проделывающими причудливые ходы. Но так ничего и не могла понять. Наконец не выдержала, сказала, что устала:

— Может быть, двинем в общежитие или присядем?

— Устала? А я хотел ещё погулять. У меня что-то голова болит...

И снова они принялись наматывать километр за километром. Лидочка чувствовала, что на ступне у неё образовались натоптыши, а мизинец и косточка сзади стёрты до крови так, что она уже еле ковыляет. Но шла и шла, точно Русалочка из сказки Андерсена, с израненными ногами...

И в следующую их прогулку всё повторилось, и опять... И даже, когда они наткнулись на лавочку — и Лидочка буквально упала на неё, не спрашивая Андрюшу, упала просто потому, что опять стёрла ноги уже другими туфлями — только теперь на боковых косточках и там, где туфля спереди врезалась в кожу, они просто сидели на расстоянии полметра друг от друга и разговаривали ни о чём. Лидочка хотела к Андрею придвинуться, но подумала, что это неудобно. Но они всё сидели и сидели... Лида чувствовала, что её уже начинает пробирать дрожь и холодный ветерок облизывает своим прозрачным языком. Она хотела было уже встать, но тут резко поднялся Андрей, нагнулся к ней — и в одно мгновение она снова оказалась сидящей в напряжении у него на коленях. И снова рука слепым и тёплым зверьком ползала по её телу, постепенно выводя её из состояния оцепенения.

Так бывает: и не собиралась вроде замуж пока, а вдруг раз — и заклинило. Андрей сам был такой положительный, и семья его понравилась, хоть и ощутила она холодок, исходящий от свекрови. Лёгкий такой холодок, от которого мурашки по коже ползут и хочется втянуть голову в плечи, чтобы согреться.

Её рассматривали так, что ей казалось, что она проходит медосмотр, бегая от врача к врачу... И она ощущала то холод фонендоскопа у себя на груди, то металл лопаточки на языке, а то и вовсе клеёнку гинекологического кресла. Смотрели снизу вверх, прощупывая сантиметр за сантиметром, выворачивали наизнанку, пытались разглядеть содержимое... Она так и читала по глазам свекрови поставленный ей диагноз. Да, жаль, что не из интеллигентной семьи, без рода и племени, но, в конце концов, такие карабкаются к солнцу изо всех сил, заглушая нежные садовые цветы... Не хватает интеллигентности, но зато она будет тащить на себе быт и не станет требовать от сына помощи, потому что так было принято в её семье... Неизвестно ещё, какую другую шалаву сын может привести в их дом. А эта и учиться с удовольствием, и серьёзная, за сына будет держаться, так как бежать ей некуда, не в деревню же ехать, да и Андрюша влюблён в неё, похоже. Может, конечно, просто друзья

его женятся потихоньку, вот и он отстать от них не хочет...

Когда Андрей предложил ей за него замуж — а сделал он это очень буднично: они просто прогуливались по набережной — была весна, душно пахло черёмухой и резко похолодало, но солнце смотрело в глаза — и было понятно, что лето уже не за горами. Ветки яблонь и вишен были густо обсыпаны цветом, уже опадающим на тротуар и издавек казавшимся морской пеной, вышвырнутой отхлынувшим морем...

Лида не обрадовалась, не бросилась ему на шею, а буднично подумала: «Ну вот. Цель достигнута». И сказала: «Да». Хотя ей казалось немного нереальным то, что она через полтора месяца станет мужней женой. И не радость заставляла сердце биться быстрее, а тревога и страх перед неведомой жизнью в чужом и большом доме, где она, будто по сосновым иголкам ходила босиком, осторожно, но всё время укалывалась и ёжилась. Ей повезло. «Отхватила профессорского сынка, и по квартирам скитаться полжизни не надо будет», — завидовали подруги. А она чувствовала себя лошадкой, пасшейся на цветущем лугу, залитом солнечным светом, жующей сладкие цветки клевера и пачкающей нос в жёлтой пыльце ромашек, которую теперь загоняют в стойло. Оденут уздечку, затянут подпругу, привяжут бубенчики — и только тогда выпустят на простор... Не порезвиться — везти несмазанную телегу, что зовётся семейной жизнью, чувствуя уздечку, больно рвущую уголки губ... Откуда-то у неё было это знание умудрённой и умотанной жизнью клячи? «Укатали сивку горки...» Это то, что рано или поздно говорит большинство... А пока сердце сжималось от страха и невозможности отменить то, к чему она шла целых два года знакомства с Андреем.

#### 4

**В**ходила она в семью мужа тяжело, ей всё время казалось, что она золушка на балу, которая не нашла у себя во что переодеться и напялила платье с чужого плеча, хотя и красивое, но болтающееся на ней, как на вешалке, отчего она напоминала огородное пугало,

взмахивающее руками от порывов ветра. Самое главное было не открывать рта. Она инстинктивно чувствовала: что бы она ни сказала, окажется не так. Она старалась не спорить и не высказывать своего мнения, понимая, что её соображений никто в расчёт не возьмёт, а вот спровоцировать вспышку негодования можно очень даже запросто. Запирала в себе все мысли, словно дикого зверя в клетку, думая о том, что когда-нибудь всё же выпустит их на волю, забыв закрыть замок. Андрей слушался всё равно не её, а мать. Моментами она чувствовала себя непритёршейся деталью в бесперебойно работающем механизме этой чужой для неё семьи, колёсиком, имеющим зубчики по размеру чуть больше, чем нужно бы для бесшумной и безотказной работы этого устройства. Но время шло, зубчики стачивались — и она с удивлением обнаруживала, что находит у себя в голосе интонации свекрови, а трапеза со сковородки в целях экономии чистой посуды становится невозможной.

У свекрови Лидия Андреевна сумела многому научиться. Андрей был покладистым человеком. Таким сделала его мать. Лидии Андреевне очень даже повезло, что ей достался такой муж. Она могла совершенно спокойно ему сказать:

— Помой всем обувь, — и Андрей послушно шёл в ванную, по очереди брал каждую пару больших и маленьких чупяк, мыл, сушил, чистил, намазывал кремом, полировал куском фетровой шапки...

Что Лида скажет, то и делал. Как тень при жене, но тень странная, что считалась не тенью вовсе, а главным, тем, чем Лидочка на людях гордилась и хвасталась как своим трофеем. Она и показывала его как трофей, а сама частенько кричала до потери голоса и истерично плакала, паря в полной невесомости без какой-то опоры под ватными ногами. Хотя бы за какую ветку на дереве ухватиться, но нет... Расправляй крылья, включай свой внутренний реактивный двигатель...

Муж не то чтобы умел тихо гасить все её эмоциональные всплески... Он просто незаметно уходил от любых конфликтов, давно поняв, ещё тогда, когда жил с матерью, что с женщинами лучше не спорить. Женщина просто не-

сёт всё то, что пришло ей на ум, наматывая на любой пустяк слой за слоем, будто пускает скатываться с гигантской горки слепленный из мокрого снега снежок. И снежок выростал до размера головы снежной бабы... Оставалось только вставить нос морковкой. Но вдруг припекало солнце — и остановившийся у подножия горы ком начинал медленно таять, пуская тоненький ручеек слёз.

Управлять своими детьми Лидии Андреевне было часто сложнее. Дети частенько просто огрызались на её требовательные просьбы. Муж никогда не повышал голоса. Дети же нередко отвечали противным канючащим голосом: «Мне некогда...» Иногда отрезали: «Отстань, я учу уроки. Я потом помою!»

В первые месяцы своего брака Лида чувствовала себя как в ловушке. Да, она добила много из того, чего хотела. Перспектива вернуться в своё Большое Козино наводила на неё беспросветную тоску. В первые месяцы она почти не выходила из их с мужем комнаты, стараясь быть незаметной маленькой серой мышкой. Она казалась себе неуклюжим гадким утёнком по сравнению с городскими куропатками. И она многое умела уже. Жизнь с семнадцати лет в общаге приучила её самостоятельно справляться со всеми бытовыми хлопотами, но её ужасно злили постоянные замечания свекрови. Свекровь ходила за единственным сыном по пятам, не оставляя им возможности на личную жизнь. У неё до сих пор стоит в ушах поучающий голос свекрови: «Яйца надо мыть». Это же смех! Мыть яйца! Зачем их, интересно, мыть? Она до сих пор этого не понимает.

Лида всё время чувствовала себя будто в кабинете врача: беззащитно голой и просвечиваемой жёстким рентгеном, ловащей всей кожей критический взгляд, окидывающий её короткую юбку с разрезом и занавески в горошек, что она повесила в своей спальне. «Сними! — изрекала свекровь. — Они не вписываются в интерьер». В Лидочкиной семье любили всякие соленья и жареное. Здесь же на всё это было наложено строжайшее табу. У свёкра была язва, у Андриши постоянное обострение гастрита, у свекрови вырезан желчный пузырь. Лида с ума сходила, как ей хотелось купить се-

лёдину, чтобы уплести её с молодой картошечкой! Маринованные грибочки, привезённые от матери из деревни, свекровь тут же сплывала мужу на день рождения на работу. Котлеты в доме ели только паровые. У Лидочки эти котлеты стояли в горле.

Она поджарила однажды мясо, привезённое из дома, так, как любила делать мать, с золотистым лучком, с душистыми специями. Свиныня получилась с хрустящей на зубах корочкой и даже немного с кровью. Свекровь молча взяла нож, срезала золотистую корочку на мясе, полила после его водой из чайника, а свёкру запретила есть вообще. Лидочка тогда впервые развернулась, показав рентгеновскому аппарату свои ссутуленные плечи и склонённую голову, которую хотелось спрятать от любопытных глаз у себя на груди, и ушла из дома.

Она бродила по ночному городу, полному слезящихся пятен огней, вглядываясь в люминесцирующие надписи на витринах. Пронизывающий до костей ветер, прокраившийся под тоненькую курточку, сбегал холодком по спине и заползал в сердце, выдувая из него любовь. Ветер тщетно пытался высушить набегавшие слёзы, но они мгновенно, будто ключевая вода из подземной скважины, проступали снова. Она зашла в кафе «Лабиринт», затемнённое настолько, что даже не было видно лиц посетителей, сидящих за соседним столиком. Кафе находилось в полуподвале, с внешним миром его связывали только бойницы маленьких окон под потолком. Подсветка этой темницы шла откуда-то из верхнего угла потолка и была сделана в виде камелька. Дрожащий язык пламени напоминал ей почему-то змеиное жало. Лида подумала о том, что в её семейном очаге хранится тоже вот такой же тускло тлеющий никогда не затухающий огонёк, светящий еле-еле, так, что любимых лиц не различить. А выход он вон, там, вверх по мраморной лестнице, ведущей в ночной город. Только там тоже ветер, раскачивающий тусклые лампочки уличного освещения, безжалостно срывающий афиши и влюблённых с холодных и ещё не насыженных ими лавочек.

Она заказала кофе с эклером. Через десять минут к ней подсел высокий тучный мужчина, возраста которого в полумраке было не разоб-

рать, но по голосу ей показалось, что он скорее сгодится ей в отцы.

— Скучаем? — спросил бархатный голос, возникший где-то в глубине чёрной пещеры.

Ещё через десять минут обладатель голоса принёс бутылку вина цвета граната, пропитавшегося запахом бурных южных ночей и укачивающего плеском прибоя, и фужеры с янтарными ломтиками лимона и кубиками льда, напоминающими о детстве, когда она так любила сосать отломленные от выступов сосульки, ощущая во рту вкус талого снега и предчувствия любви. Она пила терпкое вино, напоминающее о садах упущенных возможностей, и думала о том, что ещё всё-всё в своей жизни успеет перевернуть... Сжимая до побеления костяшек пальцев ножку фужера, она сидела ни жива ни мертва, вдыхая запах изысканного мужского аромата и чувствуя на своей шёлковой коленке тяжёлую огненную ладонь. Как ни странно, ей было очень приятно. Слезы, которых и не было видно в этом полумраке, высохли, внизу живота встрепенулся нахохлившийся воробей, и стало завораживающе страшно... Вскоре мужчина положил ей руку на талию. Прижимаясь к пьянящему иностранному ароматом колючему пуловеру, она чувствовала себя подростком, идущим по узкой жёрдочке через холодную осеннюю речку: не утонешь, если вдруг сорвёшься, оступившись на трухлявой и замшелой досочке, но вымокнешь до нитки в холодной уже, остывающей от ночи к ночи всё сильнее сентябрьской прозрачной воде отплавшего и отзвевшего лета.

Руки мужчины сжимали её всё сильнее, нежное поглаживание превратилось в шипки какой-то хищной птицы, не умеющей клевать по зёрнышку, рука с талии переместилась на грудь, пытаясь отжать её, как промокшее и набухшее под дождём полотенце, что не ко времени оказалось повешенным сушиться на верёвочку. Жарко дыша ей в ухо всё учащающимся дыханием, мужчина прошептал, щекоча её щетиной усом: «Пойдём ко мне...» Потом дёрнулся, будто подстреленный, ослабляя железную хватку могучих заклинивающих ладоней. Её правая грудь утонула в его пятерне, словно маленький зяблик, которому почему-то решили свернуть шею.

Домой она вернулась под утро, попыталась тихо открыть дверь, ключ в замок не влезал. «Вставили ключ изнутри — и закрыли на собачку», — догадалась Лидочка.

Сдвигалась по холодной стенке к ватному одеялу сна, медленно погружаясь и закутываясь в его обволакивающую нежность. И вот уже она летает, парит над городом, но из его труб, торчащих, будто выехавшие гвозди из расшатанного дома, идёт чёрный дым. Она лавирует между этими клубами дыма — и удивляется, что дым и не рассасывается вовсе; парит, будто орлица, высматривающая добычу... Люди с её поднебесной высоты — маленькие букашки... Она медленно снижается, букашки начинают расти в размерах, вымахивая до Гулливеров, — и вот она уже сама теряется среди этих гигантов, боясь стать чьим-нибудь охотничьим трофеем.

Она очнулась от резкого стука, похожего на тот, что бывает от закрываемого канализационного люка; раздаётся ленивый лай, перемешанный с незлобным рычанием.

Весь день она была сама не своя, всё время прокручивая, как заевшую граммофонную пластинку, события последнего дня. Она решила прийти домой пораньше, пока Андрея и его родителей не было дома.

Решила, что надо быстренько приготовить что-нибудь вкусненькое: «Блинчиков, что ли, напечь?» Через полтора часа всё было готово.

Первой пришла свекровь, окатила невестку ледяным взглядом и изрекла:

— Если ты думаешь, что я позволю иметь сыну гулящую по ночам жену, то ты глубоко заблуждаешься.

Лида с обмирающим сердцем, готовым заглохнуть совсем, забуксовав в колее, ушла в спальню и ждала мужа.

Она слышала, как свекровь прошла на кухню и загремела кастрюлями, будто по железной кольчуге врага, пытаясь изрубить её на кусочки. Через полчаса свекровь позвала свёкра ужинать. До Лидочки донёсся запах борща.

Она посмотрела с тоской на часы. Андрея всё не было. Лида стала разглядывать будильник. Часы были механические, древние, вставленные в деревянный кукушечий домик. Но кукушка давно умолкла, маятник висел



рыболовным грузилом. Стрелки замерли на месте, будто лапки присосавшегося к стеклу жука. Через каждую минуту длинная лапка конвульсивно дёргалась — и передвигалась на одно золотистое деление. Маленькая короткая лапка дёргалась реже, будто жук начал агонизировать. Кургузая лапка вздрогнула — и встала на палочке в паре с крестом.

Дверь спальни рывком распахнули — и выросшая в проёме на фоне уходящего в ночь коридора свекровь, готовая взорваться, как забродившая банка с огурцами, раздражённо сказала:

— Догулялась! Иди ищи его теперь!

Через час свекровь взяла телефон и начала названивать друзьям Андрея.

Лида слышала нервные шаги взад-вперёд по гостиной, будто метроном какой стучал, тук-тук-тук... Или усиленный через фонендоскоп стук сердца выбивал чечётку.

Без пяти час Лидия услышала поворот ключа в замке. Сердце вспорхнуло посаженной в клетку птицей...

Лида услышала резкий голос свекрови, похожий на совиный крик:

— Вы меня доведёте! Где тебя черти носили? Что, позвонить нельзя было?

Андрюша прошмыгнул в спальню, сделав отсутствующую и независимую от скорбного вида жены мину, — и, быстро переодевшись, ушёл умываться и после проследовал на кухню. С замиранием сердца ждала Лидочка Андрея, понимая, что семейная лодка её сильно накренилась, в корме незаметно прибывает вода, а она, вместо того чтобы вычерпывать её по капельке консервной банкой, хотя и перестала раскачивать лодку, но сидит на борту, свесив ноги, и глядит в чёрный омут, отражающий её искажённое лицо.

Пужинав, Андрей удалился в гостиную.

Лида, вконец измученная ожиданием неизвестности и проведённой бессонной ночью накануне, внезапно почувствовала, что на неё наваливается тьма сна, тяжёлая, будто мешки с алебастром, обволакивающая, словно глубокий снег ствол у яблони, что не даёт той погнупуть от мороза. Как сомнамбула нырнула под одеяло и с ощущением блаженства, что голова утопает в пуху, провалилась во тьму, которую разрезали фары встречных машин, неоновые

огни рекламы и бенгальские огни... Она не слышала, как пришёл Андрей, а утром вскочила от трезвона будильника, напоминающего сигнал трамвая замешкавшемуся пешеходу.

На работу она ушла сама не своя, чувствуя, как натянулась нить между ней и её домашними. Чуть-чуть накрути её на палец ещё — оборвётся. Палец уже кровил, обозначив саднящий порез, будто жабры рыбыны, выброшенной на отмель. Уже надо было зализывать раны.

Вечером снова всё повторилось: Андрей пришёл домой в двенадцать, Лида лежала на сбившейся постели и плакала в подушку.

Свекровь её игнорировала. Делать ничего не хотелось. Лидочка взяла книгу и попыталась читать, но строчки прыгали, буквы разбежались, будто муравьи. Страшно потянуло домой в тёплые мамины руки, пахнущие свежеспечённым караваем. Она опять погрузилась, как вчера, в сон, на этот раз не раздеваясь, просто свернувшись жалким крендельком на одеяле. Ей приснилась маленькая голубоглазая девочка лет трёх. Девочка та, одетая в бирюзовое платье с невесомыми оборками и струящимися, будто горная вода, фалдами, почти сливающаяся с голубым разливом поднебесья, шла по тоненькому верёвочному канату, ловко, словно крыльями, балансируя кукольными ручками. Канат был перекинут с одной серой скалы на другую. Внизу простирался сказочный вид долины, захватывающий дух. Укрытые травяным паласом горы, разрисованные ближе к долине охряно-багряным орнаментом осеннего леса с золотистой росписью и тёмно-зелёными вкраплениями ёлочных пирамид. На дне блестела расщелина, наполненная голубой водой. Девочка шла ей навстречу. Девочка ступала осторожно и, увидев её, перестала взмахивать своими ручками-крыльями, а потянулась к ней. И вдруг побежала по верёвочке быстрее, ловко перебирая натянутый над пропастью шнур своими маленькими ступнями в белых балетках. Голубые глазищи распахнуты васильками, в жёлтых их серединках качались солнечные зайчики и отражалось бездонное небо, убаюкивающее облака.

Лидия лежала в полной тишине и смотрела в потолок. Всё-таки семейная жизнь — скучная вещь... Все дни одинаковые, как белые кафель-

ные плиточки. Но разве она найдёт ещё раз то, что так легко получила? Не в общагу же ехать или на съёмную квартиру. Мама говорила, что мудрость женщины — это терпение.

Тишина сгушалась в комнате, как перед грозой. Было душно и тревожно. Неясно, как дальше жить, и всё, по сути дела, из-за ерунды. Наконец в замке послышался беспокойный поворот ключа. Лида облегчённо вздохнула и подумала, что она опять не знает, как себя вести. С одной стороны, её захлёстывала ярость, огромная, готовая всё смести и разрушить. А с другой стороны, пожалуй, больше всего на свете она боялась сейчас, что всё рухнет.

Андрей с независимым видом заглянул в комнату, взял домашнюю одежду и быстро вышел, будто опасаясь, что Лида с ним заговорит. Гремел на кухне посудой и хлопал холодильником... А чего хлопает? Она ему на сковородке всё оставила. Только разогреть. Она слышала, что муж включил телевизор и ушёл, видимо, смотреть кино с тарелкой картошки.

Лида чувствовала, что её лицо горит, точно после первого загара в ветреный день. И снова она начала западать в наваливающийся, будто душное одеяло, сон. И снился ей огонь, что внезапно вспыхнул от небрежно брошенной спички, пролетевшей мимо консервной банки на коврик из рогожки, описав огненную мёртвую петлю...

Сердце оттаивало в тёплой комнате, жгло глаза, и начала кружиться голова. Комната принялась медленно вращаться, всё убыстряя и убыстря своё движение; к вращению теперь ещё добавилось лёгкое покачивание на просёлочной дороге. Потолок крутился, словно она находилась в ракете на карусели, все очертания были размыты и укутаны сгущающимся туманом. Комната теперь качалась, точно лодка. То волной морской тебя поднимает, то ухаешь с гребня в пенящуюся черноту. Будто летишь на качелях: то с замиранием сердца взлетая в поднебесье, то ещё чуть-чуть — и проделаешь полное сальто, сорвёшься в штопор, выпадешь за борт. Она вжималась в подушку, стараясь не шевелить головой и не разговаривать. Пыталась заснуть, понимая, что утром всё должно встать на место. К счастью, с ней никто и не говорил... «Господи... — подумала

она, — и как маленьким детям может нравиться качание в люльке!»

Снов в эту ночь ей не снилось. Сквозь рваное забытье она слышала, как муж лёг спать, потушив свет. Тёмная ночь, в которой изредка возникали огненные вспышки огней, стала ещё беспросветней. Яркие пятна фонарей слезились и удалялись, будто огни теплохода, идущего через ночь по тёмной реке. Только вот рыжие искры костра теплились где-то на том берегу, словно огоньки от сигареты в ночи.

Утром её по-прежнему мутило. Лида была уже почти уверена, что беременна. Седая вертикальная врачиха, к которой она так не любила ходить, не рассеяла её догадку. Значит, всё. Петля затянулась. Не выпрыгнешь, прикована за ногу к опоре. Но это же хорошо! Значит, теперь она сможет хоть чуточку настаивать на своём, дёргать мужа за верёвочки, как куклу на шарнирах. Она же этого хотела. Теперь она точно останется в этом большом доме. У неё есть будущее. И она теперь никогда не будет одна, потому что ребёнок — это ведь часть тебя, твоя кровинка. Она сможет его воспитать таким, чтобы было на кого опираться в жалкую старость и чтобы можно было им гордиться, а не опускать глаза. Она знает, что сможет. Но для этого ей придётся запрятать свои амбиции и норы подальше. Ребёнок не должен расти в доме, где живут в скандалах...

Она шла по осенней улице, улыбаясь внезапно вернувшемуся лету. Ягоды рябины уже поджигали сухие листья. Часть листочков свернулась чёрными огарками, другие, подхватив огонь, колыхались на ветру ровным, спокойным пламенем, напоминающим о том, что всё в этой жизни конечно. Корявые тополя, стоявшие как нищие вдоль тротуара — с обрубленными и скрюченными ветками, что все были изуродованы узлами от наплывающих опухолей в травмированных местах и напоминали скрюченные руки стариков, роняли заржавевшие листья на серый асфальт — и они летели, подхваченные лёгким дуновением ветра, мешаясь с самолётками от клёнов, объятые прощальным огнём...

Лида насилу пришла домой. Ноги стали свинцовыми — и она их с трудом переставляла, еле-еле отрывая от земли. В голове гудело, и

снова в глазах серебрились блёстки новогодней мишуры, и вновь к горлу подступала дурнота. Она тотчас легла, даже не раздеваясь, так как вся комната опять вращалась, стены наезжали на Лиду, грозя обрушиться, и её нынешняя жизнь казалась ей нереальностью.

Она, опять вжимаясь в подушку и боясь пошевелить головой, постаралась провалиться в спасительное забытё. И снова сноп светящихся новогодних огней бил в глаза, но огни постепенно заволакивало каким-то то ли туманом, то ли дымом, полупрозрачным, размывающим фонари до гигантских размеров.

Она проснулась от шагов мужа по комнате, играющих на дощечках паркета. Открыла глаза, вспоминая, что же с ней произошло.

— Андрюша, — выговорила она откуда-то из глубины нутра, стараясь не двигать головой и не раздвигать губ. — У нас ребёнок будет, наверное. Я очень плохо себя чувствую.

Андрей с минуту стоял в звенящей тишине, потом медленно опустился на кровать.

— Ты уверена?

— Да, мне и врач сказал.

Муж посидел ещё несколько минут в обступившей их со всех сторон тишине спальни и вышел, беззвучно притворив за собой дверь.

Сквозь забытё до неё доносились голоса из соседней комнаты и кухни. Говорили тихо, но о чём, не понять... Как на иностранном языке. Слов не разобрать, только слышна чужая речь, и можно лишь догадываться по интонации голоса о настроении говорящих.

## 5

Первым чувством, когда Лида поняла, что беременна, было чувство растерянности. Она совсем не готова была становиться матерью. Её юность ещё не кончилась, ей ещё хотелось самой побыть ребёнком, любимым и лелеемым. Она плохо понимала, что ей предстоит. Вслушивалась в себя — и ничего не ощущала. Ей нравилось, что её окружили двойной заботой, но расстроило, что муж буд-то и не хотел этого ребёнка. Сказал, что ребёнок может их разъединить. Они собирались на юг в это лето. Она никогда не видела море, а

теперь её поездка накрылась медным тазом. И она никогда уже, может быть, никогда не увидит того, что видела в кино: лазурного, бескрайнего, будто отпущенные возможности. Море снилось ей по ночам — волнующееся, выбрасывающее на берег медуз, которые мгновенно исчезали на солнце, как её нереализовавшиеся планы. Её мучила тошнота — будто жестокая морская болезнь. Качалась на волнах жизни в искусственном море, где русло реки перегородили большой плотиной. Уровень воды всё поднимался, а ветер потихоньку раскачивал образовавшееся море. Она совсем не могла смотреть на еду: всю выворачивало. Иногда ей было настолько плохо, что она начинала ненавидеть и будущего ребёнка, и свою семейную жизнь. Чем больше становился срок, тем сильнее накапливалось раздражение, что вот теперь вся её жизнь дарована маленькому с каждым днём всё растущему головастику, отнимающему у неё все силы. Отныне она себе совсем не принадлежит. Иногда она чувствовала необъяснимую нежность к этому головастику. Нежность накатывала внезапно, прыгала на колени котёнком, тёрлась о росший живот и сворачивалась клубочком. Лидочка уже представляла, как будет малыша пеленать, завязывая белый конверт бантиком, целовать ручки и ножки в перевязочках, когда просовывает их в рукава распашонки или ползунки, качать в коляске под ажурным клёном, пускающим свои самолётики, и учить становиться человеком. Живот делался всё больше похожим на надувной мячик, который они с визгом бросали в детстве в деревенском пруду друг дружке. Вся она пошла какими-то коричневыми пятнами, напоминающими гниль на опавших листьях. Она стала переваливаться, как уточка, и ей всё труднее было передвигаться: волочила отёкшие ноги-бутылки, будто тромбофлебитная старушка.

Токсикоз не проходил, она бежала на негнущихся ногах после каждой еды к унитазу, зажимая рот ладошкой, потом ложилась на кровать и смотрела в потолок, что начинал вращаться, точно она скачет на карусельной лошадке. Лошадка кивала головой, Лидочка пригибалась к её гриве — и крутящийся потолок то приближался, то удалялся. По кочкам,

по кочкам, вцепившись в гриву, сжимая костяшками пальцев поводья-пододеяльник, лишь бы лошадка не взбрыкнула и не скинула её на землю.

Иногда ей было настолько плохо, что хотелось, чтобы всё кончилось — и она снова бы стала стройной живой девушкой, на которую оборачиваются на улице. Она чувствовала себя иногда маленькой серой мышкой, что сунулась за кусочком сыра в мышеловку, да в последний момент почему-то отпрянула, но мышеловка успела прищемить ей лапку: и теперь она сидела в растерянности, не зная, как вырваться.

Уже знали, что будет девочка. Андрей предложил назвать её Василисой, в смысле что Василиса прекрасная. Свекровь сказала: «Пусть лучше будет премудрая». А Лида хотела, чтобы была и прекрасная, и премудрая.

Андрюша не был готов стать отцом совершенно. И если Лида начинала как-то готовиться к появлению малышки: покупала розовые ползунки и распашонки, строчила на машинке пелёнки из батиста, что лежал у мамы в сундуке, — ещё мамино приданое, то Андрюша мог часами вертеть в руках пластмассовую головоломку, из которой нужно было собрать единственную верную конструкцию так, чтобы не осталось ни одной лишней детальки. Конструкция никак не складывалась, это раздражало Андрюшу, и он ужасно злился, что мать заставляла его идти мыть посуду или в магазин. Лида почему-то подумала, что и её семейная жизнь — вот это составление правильной конструкции, что они очень стараются её сложить, но всё время или не хватает одной детальки, или остаётся одна лишняя. Конструкция эта была никому не нужна, и совсем не стоило тратить столько сил и времени, чтобы всё увязать так, как положено, но что-то неодолимое заставляло снова и снова всё расставлять по нужным местам.

Иногда Андрюша просто сидел на постели рядом с ней и смотрел на зелёное, цвета кабачков, искажённое мукой лицо жены, страдальчески сжимающей губы, и у него просыпалось странное чувство жалости и брезгливости одновременно. Ему казалось, что он тоже попал в какой-то если не капкан, то клетку, где позволено ходить как загнанному по периметру.

Рождение ребёнка не пугало его, но ему казалось, что ребёнок отдавит их с женой друг от друга. Уже отдалил. Его жена, им самим посаженная в лодку на корму, случайно оттолкнулась веслом от берега, пока он мешкал, и медленно удаляется, растерянно улыбаясь, подваченная попутным ветром и шустрым течением воды.

То, что она скоро станет мамой, Лида воспринимала как какую-то нереальность. У неё не было никакого желания рожать, вскармливать, тискать и прижимать к себе маленькое тельце. Дети не вызывали в ней того умиления, какое она наблюдала у многих своих подруг, когда те, увидев в коляске новорожденного малыша, начинали сюсюкать, склоняясь над гордо распахнутой для обозрения коляской, таящей в себе визжащее сокровище. Она отходила в сторону и спокойно переживала всеобщий щенячий восторг, как перед сахарной косточкой.

Рожала она тяжело. Сначала страшно боялась. Хотелось заснуть — и проснуться сразу без живота. Если бы можно было у себя в деревне рожать, то рожала бы там. Там была мама, там она была дома, там бы её в беде не оставили никогда. А тут... Ей казалось всё время, что она живёт в какой-то чужой стране. Вроде все вежливы, приветливы, достаток и красивые витрины магазинов, а только ничего не понимаешь, не можешь ни спросить, ни рассказать о себе, душу выплеснуть некому, чтобы стресс снять, хотя, наверное, упади она на улице, ей помогут... А коли душу вывернуть не можешь, чтобы вытряхнуть всё накопившееся и тревожащее, будто муравья, забравшегося под рубашку, то и бродишь неприкаянная, расчёсывая себя в кровь. Она была по жизни неуверенным человеком, не победителем, не то что нынешние молодые, которым палец в рот ни клади... А она — дрожь и обморок. И откуда у неё, деревенской девицы, эти опущенные долу глаза тургеневских барышень? Но хороших акушеров там не было. Когда уходила в палату, бросила на Андрея прощальный взгляд ребёнка, оставляемого впервые в детском саду.

Чувствовала себя в роддоме словно в казарме. Жёлтое солдатское бельё, злобный взгляд акушерки, которая, казалось, ненавидела всех

молодых. «Чего орёшь! Много вас тут, если все орать будут!» А она и не кричала вовсе, кусала до крови посиневшие губы и радовалась, что врачиха отвалила и матом не ругается. А пока врача не было, отошли воды... Она не помнит ничего почти, даже время не заметила, когда Василиса родилась. Что долго зашивали — помнит, после родов она месяц не могла сидеть совсем. Кормила дочку лёжа, пока было молоко. У неё скоро грудница началась. Её снова резали и зашивали. Сделали какой-то укол обезболивающий, а у неё непереносимость. Она помнит, как тогда медленно открылись ворота в туннель, лязгая дверями проходящего за окном трамвая, — и она почувствовала, что её будто омутом затягивает в этот туннель, светящийся равнодушным светом люминесцентных ламп операционной. Этот свет слепил, точно южное солнце, отражавшееся в горах от белоснежного девственного снега.

Она решила тогда, что больше никогда рожать не будет. Ни за что. Но мудрая природа всё стёрла из памяти, точно волна следы на песке... Так, видимо, устроена жизнь, что мы всё забываем. И боль тоже...

Наутро привезли перепелёнатые надрывающиеся свёртки, лежавшие, будто рассыпанная вязанка дров. Когда первый раз ей подали дочь, чтобы покормить, и она смотрела на этот почмокивающий комочек — в ней вдруг медленно начала просыпаться такая нежность... Нежность была ещё в полусне. Нежность ещё плохо понимала, где она, внезапно очнувшись от забытья. Нежность прибила звякнувший будильник и подумала: «Ещё успею, ещё полежу чуток, сладко потягиваясь спросонья». Сон медленно уходил. На неё смотрело маленькое существо своими серыми серьёзными глазами, волнующимися, как море в непогожий день. Лида ещё не чувствовала себя мамой, ей самой хотелось к маме и пожаловаться, что у неё всё разорвано, но это красное сморщенное существо вызывало удивление: «Неужели это моё?» Отёчный и маленький, будто котёнок, младенец терпеливо позволил взять себя на руки, неловко пристроился к шершавому коричневому соску, похожему на замороженное пятно на румяном яблоке, — и принялся сосать. Отдуваясь от первой трапезы, удивлён-

но разглядывал мутными щёлочками глаз нависшую над ним белую грудь, сквозь нежную кожу которой просвечивали голубые ручейки прожилок, с которыми совсем недавно его сосудики имели общее русло.

Первые месяцы были настоящей каруселью. Лида летела в этой карусели в каком-то полусне, плохо понимая, где кончалась явь — и она проваливается в забытье. Ребёнок всё время плакал.

Она буквально падала от усталости. Просто закрывала глаза и мгновенно засыпала в том месте, где оказывалась. Это могло быть и кресло, и стул, и за письменным столом, и за обеденным. Она даже не роняла голову на сложенные руки. Просто сидя прямо проваливалась куда-то в другую жизнь, полную разноцветных огней ночного города или солнечного света, рвущегося в прорези тяжёлых занавесок. Она спала очень недолго. Через несколько минут вздрагивала, будто от испуга, от истощающего детского плача. Пока Василиса была крошечная, Андрей почти не помогал ей. Но зато её пытался укачивать свёкор. Вася за несколько минут на его руках затихала, но, как только её возвращали назад, начинала блажить. Вся её жизнь была подчинена этому маленькому сопящему существу, у которого она находила всё больше своих черт.

Она очень долго тогда не могла отойти от родов. Молока не было. Начался мастит. Лида лежала на их супружеской кровати. Потолок и стены менялись местами, как в цирке у гонщика по отвесной стене. Грудь горела, будто печка, и была красная, как вываренная свёклина. Она представляла себя гусеницей, передвигающейся то по стене, то по потолку, лишь бы не сорваться на пол, где рискуешь быть раздавленной чьими-нибудь ботинками. Она думала о том, что скоро она окуклится и заснёт, а потом проснётся как новая, вспорхнёт шелкокрылой бабочкой, вылетит в окно, подхваченная лёгким сквозняком, будет порхать с цветка на цветок, но в конце концов обязана будет отложить яички. И так по кругу... От вращения потолка её начинало мутить, и она попыталась зажмурить глаза. Боль жадными челюстями вгрызалась в тело, и ей бредилось, что большая чёрная собака, похожая на матёрого волка с седым брюхом, склони-

лась над ней и, вцепившись своими зубами в сосок, стала играть грудью, как щенок, у которого режутся зубы, будто детским мячиком. Укусит, отшвырнёт лапой, откатит, потом радостно подбежит, виляя хвостом от восторга, и снова вцепится, и снова выпустит...

Приехала скорая. Сделали новокаиновую блокаду. И всё — собака вдруг развернулась и побежала, опустив и свой хвост с насаженными на него репьями, и голову с прижавшимися к макушке ушами. Лида опять увидела длинный туннель, весь залитый светом. Стены туннеля, видимо, состояли из маленьких зеркал. Она везде видела своё отражение. Она попыталась войти в коридор, но натолкнулась на гладкую холодную стену. Увидела следующий вход — и пошла к нему, но снова наскочила на зеркальную поверхность. Она уже боялась шагать — вытягивала руку, чувствуя лёд стеклянного отражения. Она металась загнанным зайцем по лабиринту, то тут, то там маячил вход в залитый загадочным светом туннель, похожий на театральные декорации из сказки, что когда-то видела в своём детстве. Снова и снова грудью натывалась на зеркальную стынь. У неё закружилась голова — и ей стало страшно. «Выведите меня отсюда!» — хотела закричать она, но вдруг почувствовала, что совсем потеряла голос и может только разевать рот, как холодная скользкая рыбина, покрытая чешуёй из маленьких зеркал.

Когда она очнулась, то увидела над собой врача, что держал её за запястье, пытаясь нащупать пульс в синеньком ручейке, просвечивающем сквозь корку льда.

## 6

**А**ндрей почему-то никогда после смерти матери не говорил с женой о ней. Лида знала, что он грустит, и думала о том, что он боится услышать от неё что-то резкое, язвительное, жальщее, похожее на укусы пчёл, выгнанных из обжитого ими улья... Андрей стал теперь к ней ближе. Нынче он очень часто во многом советовался с ней и жаловался на своих коллег и знакомых. Лида открыла для себя, что раньше всё это, видимо, муж расска-

зывал матери... Маленький стареющий мальчик, потерявшийся в большом шумном универмаге... Теперь Лидочка должна была крепко держать в руках вожжи, чтобы ненароком не занесло телегу семейной жизни в заметённый снегом овраг.

Она совсем перестала следить за собой дома. Надевала вылинявший халат с вырванной из полы пуговицей вместе с клочком цветастой ткани, от которой осталась прореха, будто выгрызенная мышью; шерстяную кофту, проеденную молью, со спущенными петельками, что бежали наперегонки от многочисленных дырок, образовавшихся, словно от упавшего и разбившегося пузырька с кислотой; всовывала отёкшие за день ноги в тапочки, просившие каши, поролоновые, мягкие-мягкие — ощущение было, что ходишь по дому в носках. У неё и дома было такое чувство теперь, что она живёт в разношенных тапочках, что не надо исподтишка озиаться на себя в зеркало и смотреть, хорошо ли ты выглядишь. Это уже не важно. Тебя и так любят. Пусть и не с придыханием отогревающего куст подмороженной неожиданности заморозками розы. Пусть и не пылким чувством влюблённого, готового запалить весь дом от искры, метнувшейся от косы, нашедшей на камень, — и теперь грозящей в одночасье оставить без крыши над головой... Тебя любят как человека, к которому привыкли, точно к пуфику на диване, и на который можно положить голову, а можно водрузить ноги или обнять уставшими руками, будто ребёнок обнимает мягкую игрушку, — и сладко заснуть не в одиночку. Это было какое-то новое и неожиданное для неё чувство уверенности, что теперь уже совсем не важно, как ты выглядишь, — и это совсем не потому, что ты превратилась в предмет домашнего обихода, а просто тебя воспринимают как неделимую частичку себя: так родители любят своего ребёнка, не замечая, что он некрасив или глуповат, любят просто за то, что это их кровинка. Ей стало казаться иногда, что уже можно только начинать фразу — доканчивать её не надо, супруг всё прочитает по глазам и поймёт с полуслова. Она тогда думала, что это и есть счастье, тихое и спокойное, что зовётся семейной гаванью, где корабли отдыхают, поскри-

пывая ржавеющими бортами друг о друга. Счастье, что можно ходить в драном старом халате — и оставаться нужной, точно войлочные боты «прощай молодость», в которых дома так тепло и комфортно.

Постепенно Лида стала понимать, что, пожалуй, теперь она имеет такого мужа, какого всегда хотелось ей иметь. Она просто сделала его своими руками.

Была ли она счастлива в браке? Пожалуй, нет, брак представлялся ей длинным составом из обшарпанных вагончиков, что ехал по обочине леса, мотаясь на стыках рельсов из стороны в сторону, но ни разу не сойдя с них. Она смотрела из окна вагона на пробегающие мимо перелески и мелькавшие изредка водоёмы, полные свинцово-серой или зеленоватой мутной воды. Она вышла из вагона изредка. Стояла на перроне, смотрела на свой поезд с вагончиками-близнецами, среди которых затесался лишь один, тоже снаружи весьма похожий на другие вагончики, но в его окна проглядывали аккуратные столики, смутно напоминающие ресторан и праздник жизни... Стоя на перроне, она видела лишь толпу снующих вокруг нагруженных скарбом людей, тащущих свою добычу на горбе, будто чёрные муравьи, и всё тот же серый запылившийся поезд, под слоем копоти на котором лишь с трудом можно было угадать свежую зелень некошеной весенней травы. Её попутчики тоже выходили на перрон глотнуть свежего воздуха и тоже видели свой серый запылившийся поезд. Они даже пытались пройти немного к голове состава или даже оглянуться назад, но всё равно видели один и тот же серый закопчённый поезд, на котором было написано «Семейный очаг».

Иногда она перебежала внутри мчащегося поезда в соседние вагончики в гости. В тамбуре было накурено, холодно и качало так, что она вцеплялась в поручень, боясь потерять равновесие и ткнуться головой в комнату с застоявшимся удушливым и едким запахом аммиака. Ей всё время казалось, когда она открывала дверь в соседний вагон, что вот сейчас под её ногами вагончик с лязгом отсоединится — и она не успеет перепрыгнуть в соседний вагон и провалится в бездну, грозящую

её поглотить надвигающейся тяжестью вагона, купе которого она со скуки покинула, как ей казалось, совсем ненадолго: только проветриться и вернуться назад...

Лидия Андреевна не могла сказать, чтобы семья была для неё обузой... Нет. Но когда летом она отправляла своих «спиногрызов» к матери, она вздыхала, нагнетая полные лёгкие уже запылившегося от летней жары воздуха, и начинала дышать спокойно и ровно. Теперь у неё даже находилось время пройти по летнему городу, разглядывая парашюты ярких женских платьев, что летели ей навстречу, как когда-то в увисавшей от неё юности, будто ветер на взлётной полосе. Сама она уже почти забыла, что это такое: плавно спускаться сквозь дымок облаков под раскрывшимся куполом, с высоты которого всё казалось ничённым и мелким.

Передых был весьма кратковременный. Каждую пятницу она отбывала к матери, навьючившись тяжелыми авоськами, тряпичные верёвочки которых до боли и одеревенения резали сжимающие их пальцы. Впрочем, за неделю она успевала сильно соскучиться. И, так и не успев переделать после работы допоздна домашние дела, катящиеся, будто на ходу слепленный снежок с горы, и которые теперь приходилось переносить с выходных на поздние вечера, когда она возвращается со службы, Лидия Андреевна отбывала снова в загородный рай из города, расплавленного и пропахшего разгорячённым асфальтом.

Мать, проработав всю жизнь в сельской школе, уйдя на пенсию, начала стремительно стареть. Приезжая домой, Лидия Андреевна всё чаще замирала с останавливающимся сердцем и силилась протолкнуть застопорившийся комок в горле. У неё всё чаще тоскливо ныло в груди, когда она смотрела, как мать быстро превращается в сгорбленную ворчливую старушку с садом, зарастающим крапивой, в котором та уже почти совсем перестала выращивать овощи. Их приходилось возить им с мужем из города, так как сил копать у Лиды оставалось всё меньше, а Андрей был до мозга костей городской ребёнок и вообще не понимал, зачем это делать, если можно сходить на базар.

Она знала, что матери всё труднее управляться и с хозяйством, и с внуками... Да и дом постепенно начал коситься набок, будто ногу подвернул, и теперь стоит хромою, сдвинув набекрень тяжёлую серую крышу, точно берет не по размеру, что всё время съезжает набок от ветра или поворота и качания головы в такт собственным шагам. Входную дверь закрывала теперь с большим усилием даже Лидия Андреевна, мать же перестала притворять её совсем. По веранде, разбухшей от осенних дождей, словно опухшей от постоянного плача крыши, бесцеремонно разгуливал сырой ветер, проскальзывающий в трёхсантиметровую щель... От мужа помощи было не дожидаться, брат почти совсем перестал здесь бывать. В один из своих приездов Лидия Андреевна взяла давно затупившийся топорик, весь в бурых пятнах, будто от запёкшейся крови, и стала стёсывать с верхнего ребра двери слой за слоем, чувствуя, как затекают и немеют руки... Остановилась со странным ощущением, что она живая, а руки стали словно тряпичная игрушка — онемели, будто гангрена за считанные минуты дошла от кончиков пальцев до предплечья... Она опустила плети-руки и начала энергично работать кулачками, точно сжимала резиновую пищалку, пытаясь извлечь из неё жалостливый всхлип. Почувствовала, как рука словно натолкнулась на ежа: в ткань впились сотни мелких иголок, вызывая уже нестерпимую боль, готовую сорваться стоном с губ, как вспугнутая кошкой птица...

Знаком вопроса вышла из комнаты мать и встала в двух метрах от дочери, с досадой её разглядывая:

— Не смогла? А вот отец бы сделал!

Лидия Андреевна почувствовала, как ядовитые слёзы побежали из глаз, будто из сливного бачка, который наполнился, но засорился и перестал запирать воду в себе...

— А я тебе не отец! Я не мужик, слышишь? Не мужик! Заставь своего любимого сынка сделать! — Развернулась и, до звона расшатавшихся стёкол хлопнув дверью, нырнула в свою комнату, с облегчением чувствуя, как горячая кровь по каплям вливается в затёкшую ладонь...

В последние годы мать стали преследовать постоянные страхи того, что в саду ходят чу-

жие люди. Например, она могла услышать сильное шуршание листьев или треск веток под ногами, будто ломали хворост для костра, — и замирала за дверью, боясь выглянуть, прислушивалась к шагам в саду. Это был то медлительный ёж, то одичавшая брошенная уехавшими дачниками кошка, то соседская бесцеремонная собака, облюбовавшая их сад для своих прозаических нужд. Как Лидия Андреевна ни показывала притаившегося у крыльца под кустом жасмина ежа, ни говорила, что это соседский пёс опять припорол в их огород, мать, соглашаясь с ней, всё равно пребывала в постоянной тревоге, что стояла в заброшенном доме, будто пропитавший всё запах сигаретного дыма.

Она совсем перестала покупать одежду, ходила в латаной-перелатанной, аккуратно штопая мелкие дырки от моли и кожееда. Лидия Андреевна как-то предложила ей приобрести пальто, но мать отрицательно замотала головой. Будто знала, что её жизнь кончается и скоро ей не нужно будет ничего.

Мама вдруг стала стремительно терять слух. Лидия Андреевна с печалью начала замечать, что всё чаще и чаще та просто не слушает её, тихо, на цыпочках уходит в себя... И даже не пытается напрягаться, чтобы уловить хоть что-то знакомое в еле пробивающихся к ней голосах, таких для неё слабых и отдалённых, точно речь из телевизора из соседского дома. Говорить с ней становилось всё труднее, словно плывёшь против ветра, отплёвываясь и задирая подбородок, чтобы не захлебнуться в складках реки... Надрывая голос, Лидия Андреевна пыталась что-то до неё донести, но мама не понимала... Она, видимо, не то чтобы не слышала, иногда у неё вся человеческая речь сливалась в какую-то сплошную музыку типа клёкота птиц... Слышишь, а на каком языке говорят, не знаешь... После такого диалога, еле прорывающегося сквозь шум прибора, у неё страшно раскалывалась голова, затылок стягивало железным обручем, сердце бешено колотилось, запертое в грудной клетке, и пыталось вырваться на волю, будто из загоревшейся каюты. И она теперь тоже отчётливо начинала слышать этот неласковый шум прибора, разбивающий вдребезги волны о скалы...



Слава богу, мама не всегда не слышала. Это было чаще всего в какие-то дни, когда она была сильно возбуждена.

Мама почти никогда не справляла своих дней рождений, но её 85 лет решили отметить хотя бы в семейном кругу. Помимо них с мужем и детей, пришёл брат с женой и ребёнком. Это был странный день рождения. Мама сидела раскрасневшаяся, будто девочка, и очень оживлённая; она даже умудрилась испечь пирог и приготовить студень, что уже не делала несколько лет. И ничегошеньки не слышала... Нет, она даже что-то такое, раздумываясь, радостно им рассказывала из своей жизни, ускользающей, точно ящерка из рук, оставляющая в них свой хвост... Но она совсем не участвовала в общем разговоре. Им всем тогда показалось, что можно говорить уже обо всём, что они от неё скрывали, она всё равно не услышит и не поймёт. Это было так странно... Человек вроде бы тут, с тобой, но как бы и нет его... Уже там... Пару раз мама неловко попыталась встрять в разговор, но это было настолько невпопад, что они не выдержали и покатались. Засмеялись по-доброму, как смеются и потом с гордостью рассказывают о своём подрастающем малыше, который пытался сморозить что-то взрослое...

Лидия Андреевна почему-то не раз со стыдом и болью вспоминала это... Зудящее воспоминание снова и снова выныривало из темноты памяти где-нибудь на очередном застолье, где все уже были слегка пьяны и воспринимали мир через дымку сигаретного дыма. Очертания лиц были расплывчаты, а от воспоминаний неожиданно тупой болью щемило сердце, как от незаметной маленькой занозы, ушедшей под кожу далеко вглубь.

## 7

**Т**от последний год был очень тяжёлый. Мать начала слабеть, но даже не от болезней, просто организм исчерпал себя. Лидия Андреевна радовалась, что мама всё ещё себя обслуживает, но уже был заброшен огород и сад, покосившаяся изба, словно старуха горянка, пережившая всех своих сверстниц и

давно отпраздновавшая своё столетие, вызывала щемящую жалость. Тем не менее мама всегда старалась Лиду накормить, готовила к её приезду обед и, налив полную тарелку супа, садилась напротив, подперев щёку, и смотрела, как дочь ест. Лидия Андреевна не очень-то это ценила и не совсем понимала, каких сил этот обед маме стоил. Поняла уже после, когда мамы не стало.

В один из приездов того последнего года Лидия Андреевна сидела за круглым домашним столом, за которым все они так любили собираться за чаем, и с грустью смотрела на мать. Кожа её стала какой-то серой, будто сырая штукатурка, покрытой сетью морщин и делалась всё более похожей на белый налив, который вытащили из компота и на месяц забыли, оставив на блюдечке на подоконнике. Яблоко постепенно теряло сладкую воду, пропитавшую его, всё уменьшаясь и сморщиваясь, становясь как бы печёным...

Старческие руки вцеплялись в чайник корявыми пальцами, похожими на обрубленные лопатой корни, когда мать наливала ей чаю: она, видимо, очень боялась уронить чайник. Лидия Андреевна хотела сделать всё сама, но мама не давала. Мать сидела в нарядном белом кружевном воротничке от какой-то манишки из её молодости, что был выставлен поверх строгого синего платья, аккуратно заштопанного во многих местах, и смотрела водянистыми глазами вдаль. Что она видела в той дали, было ведомо только ей... Она будто была уже не с Лидой, а где-то там, куда до поры до времени хода нет никому... Иногда улыбалась, словно ребёнок, но улыбалась не миру, а про себя... Что она вспоминала? Кто стоял перед глазами — такой любимый и желанный?

— Мама, ты слышишь, что я тебе говорю?

— А? — мать тяжело поднялась из-за стола и стала медленно убирать с него посуду в раковину.

Вмыть посуду дочери она не дала. Категорически сказала, что сделает всё сама. Лидия Андреевна ушла в комнату, чтобы немного там прибраться.

Через десять минут Лидия Андреевна услышала глухой стук падения чего-то очень тяжёлого на веранде. Сжавшись в комок от недоб-

рого предчувствия, она выскочила из комнаты. Мама растянулась на полу, на спине, и виновато улыбалась. Раскинутые руки лежали перекрученным жгутом подсинённого белья. Улыбка была, как у проснувшегося младенца. Рядом с головой по неровной половице растекалось тёмно-красное пятно. Оно было уже размером с блюдечко и медленно прибывало в диаметре. Лидия Андреевна, чувствуя, что потолок над её головой тоже покачнулся и куда-то поплыл, будто простыни на верёвке, вздуваемые ветром, крепко зажмурилась и попыталась приподнять маме голову. Ей это удалось. Из маминого темени сбегала красная змейка, похожая на забродившее вино из кувшина. Лидии Андреевне удалось кое-как подвинуть мать к стене, чтобы та оперлась о брёвна. Обработав рану перекисью водорода, ей через десять минут удалось остановить кровотечение и наложить повязку. Рана была не очень глубокая, но почему-то кровь хлестала так, будто была перерезана крупная вена. Вытекло, наверное, с пол-литра крови. Вся приходящая как-то незаметно оказалась заляпана липкими следами от тапочек. Однако мама уже оправилась и осторожно поправляла повязку на голове. Она, видимо, случайно запнулась о перекошенные половицы или просто подвернула ногу.

Попросив принести ей стул, мать оперлась всем телом о его сиденье и стала потихонечку подниматься. Лидия Андреевна попыталась помочь ей, но мама недовольно замотала головой и сказала:

— Я сама.

Примерно через час мама снова сидела за их обеденным столом и безмятежно пила чай, смотря на Лидию Андреевну глазами нашкочившего ребёнка. Лидия Андреевна с облегчением думала, что всё обошлось, но чувство испуга, необратимых перемен и неотвратимой потери с того дня прочно поселилось в её сердце.

На следующий день как ни в чём не бывало мама вышла к завтраку. Лидия Андреевна ужаснулась, увидев её. Половину лица у той занимало огромное чернильное пятно. Губы напоминали чёрные перезревшие виноградины: были распухшие и покрытые белым вос-

ковым налётом. Чернильное пятно стекало по щеке в расстёгнутый ворот ситцевого халата. Из коротеньких рукавов халата торчали две худеньких руки, казалось, обмотанные сморщенной кожей, как высушенным съжившимся папирусом, и так же обляпанные огромными кляксами чернил. Мама опять виновато улыбнулась:

— Красивая я, да?

Лидия Андреевна почувствовала, как слёзы навернулись у неё на глаза и одна самая неловкая из них побежала вниз. Будто вода потихонечку сочилась из треснувшей трубы в перекрытие между потолком и полом, медленно накапливаясь там, — и вдруг, когда внутри всё промокло уже насквозь, начала сочиться наружу. Капли теперь висели на потолке, одна за другой прибывая. Вот первая капля сорвалась вниз, за ней через минуту упала другая. И было ясно уже, что это надолго. Остановить процесс было невозможно. Теперь даже если трубу заменить или как-то залатать течь, то вода всё равно будет сочиться из перекрытий ещё долго-долго...

А мама, словно ничего и не произошло, бродила ситцевой тенью по дому, выходила в заросший сад, сидела на почерневшем крыльце, поросшем сизым лишайём, и блаженно улыбалась, ловила сморщившимся лицом лучи последнего летнего солнца.

Ехать с Лидией Андреевной в город она наотрез отказалась. Да Лидия Андреевна и не настаивала, понимая, что им с ней будет очень тяжело. Взять её с собой — значит нарушить и без того шаткое равновесие в их семейном очаге.

В ноябре, в очередной приезд Лидии Андреевны в деревню, всё повторилось снова. Только теперь это произошло в комнате. Мать ударились виском о порог. Крови на сей раз, наверное, можно было бы набрать целый маленький тазик. Лидия Андреевна, еле удерживаясь на ватных ногах, отжимала половую тряпку. А мать опять сидела умиротворённо в кресле и улыбалась. И вновь слёзы, как из отсыревшего потолка, капали на пол.

Лидия Андреевна подумала тогда, уж не делает ли это мама специально, чтобы привлечь её внимание, дабы, уезжая домой, любимая дочка видела всё время её страшное лицо, уп-

рямо напоминающее спину умершего отца, когда его обмывали деревенские соседки, а Лида стояла в комнате и подавала им тазы и тряпки, требуемые командными голосами.

Последнее в маминой жизни лето было летом пожаров. Три месяца стояла нестерпимая жара, от которой земля растрескивалась так, что казалась вся покрытой тёмными незаживающими трещинами. Трава уже в июне превратилась в прошлогодний сухоцвет, потерявший от времени цвет и запах. Цветов в этом году не было. Засохли в бутонах, что смиренно качались маленькими сморщенными ягодками, создавая иллюзию вызревших плодов. Горели торфяники и леса. Пожары были верховые, в мгновение выгорали целые лесные массивы... Крона вспыхивала, точно умело сложенный в костре хворост; деревья размахивали своими обгорающими сучьями, пытаясь остудить их на ветру, но ветер только подхватывал и перекидывал с ветки на ветку рыжие языки пламени, облизывающие и сжирающие серые бескровные ветки, будто закопчённые косточки, и переносил их играючи на своих реактивных крыльях на крону соседнего дерева, замершего в оцепенении перед неизбежной гибелью... И бежал дальше, дальше, оставляя в растрескавшейся земле огарки стволов, застывших, словно покосившиеся памятники на заброшенном кладбище, мчался вперёд к новым деревьям, слизывая с земли целые селенья и оставляя после себя плач и опустошение.

Солнце в этом году было без лучей. Его будто и не было вовсе. Висело в задымлённом небе металлической тарелкой, словно луна в полнолуние, отливаясь плавящимся оловом. Два месяца жили как в тумане. На расстоянии вытянутой руки было не увидеть ни лица близкого человека, ни своего расхристанного дома, ни кустов и деревьев, понурившихся в ожидании своего конца. Всё растворилось в пепельном мареве, похожем на душную песчаную бурю, вырывающую с корнем всё живое. Воздуха не хватало. Горький дым ел глаза, высекая ядовитые слёзы, разъедал, будто кислота, сипнущее горло, ввинчивался в лёгкие. Люди задыхались, получали инсульты и инфаркты. Могги были переполнены, и трупы не успевали вскрывать...

Лидия Андреевна поливала маму в саду из лейки, смотрела на свои исчезающие в дыму руки, ощущая, как липкий пот застилает глаза и ползёт по спине вертлявой ящерицей, — и сердце сжималось в предчувствии, что лето это последнее, когда она безоговорочно любима, и неизбежное расставание ни остановить, ни отсрочить: запалённый огонь стремительно бежит по полю жизни, уже начисто отрезав путь к возвращению, и дышит жарким своим дыханием в затылок, будто взбесившаяся гончая собака. Но её чувства как-то притупились от жары, оплыли, точно свечной огарок... Она казалась себе пластилином или шоколадкой, поплывшей на солнцепёке, не в силах собраться в кулак — ни физически, ни мыслями. Только к утру она испытывала минутное облегчение, стоя в молочном саду и ловя кожей остывший угар прогорклого ветра. Она пыталась отогнать от себя гнетущее её предчувствие, но оно, точно едкий дым, набирало силу, становясь плотнее и плотнее, сдавливая сердце, перебивая дыхание и застилая глаза сплошной пеленой, приклеившейся к лицу, словно белая простыня. Всё лето жили они на грани обморока, на грани сна и небытия...

Жара отступила, как и пришла, внезапно, оставив за собой выжженное поле, по-прежнему клубящееся удушливым дымом. Лидия Андреевна стояла в сентябрьском саду, где деревья давно сбросили свои листья и их чёрные скелеты угадывались сквозь мглу, будто тени на стене комнаты в предрасветной мути, и внезапно подумала, что такое лето не может пройти бесследно. Что-то в отлаженном механизме её жизни должно сломаться окончательно и без надежды быть починенным. Чувство скорых потерь было так явственно, что она впервые испугалась их неотвратимости, точно неожиданно увидела мчащуюся на неё трёхтонку, отскочить в сторону от которой она уже не успеет, зажатая двумя встречными потоками машин...

## 8

**Б**рат всегда был в детстве зачинщиком их Бигр и развлечений. Лидочка постоянно шла у него на поводу. Зачем-то карабкалась по

шершавой коре осокоря, ветви которого выросли так, что образовали своеобразный шалаш, где они сидели, будто в кресле, невидимые снизу, высматривая прохожих на дороге, чтобы с криком кинуться к ним, пугая неожиданным своим появлением, как с неба. Катались на велосипеде, уезжали так далеко, как она сама бы никогда не рискнула, тщательно скрывая своё путешествие от взрослых.

Иногда брат заговорчески на неё смотрел и предлагал: «Пойдём поищем чего-нибудь вкусенького». Она знала, конечно, где хранятся в доме сладости, и никогда бы не осмелилась сама вытаскивать их из хранилища — большого эмалированного бака, куда складывались все лакомства, чтобы не стать погрызенными мышами. Она крадучись отправлялась вслед за братом на их маленькую кухню, за печкой, в полутьме они находили большой бак — брат потихоньку приподнимал крышку и разворачивал кульки и пакетики.

Не раз с его подачи они весело удирали из детского сада домой. Серёга просто, хитро улыбаясь, подходил к ней и говорил: «Пойдём домой?» И они шли. Бежали по длинной просёлочной дороге, весело смеясь тому, что это, оказывается, так просто: сбежать из-под надзора воспитательницы.

Но Серёжа был зачинщиком не только шалостей. Он имел неплохие художественные способности и научил Лиду делать картины и барельефы из мягкого камня, опоки, что представляла собой слежавшиеся пласты глины, говорят, богатые кремнезёмом. Была она белая, розовая, голубая... На этих цветных камнях брат ножиком или шилом создавал гравюры или вырезал какой-нибудь барельеф, потом раскрашивал своё творение цветными карандашами или акварелью. Лидочка с восхищением смотрела на его произведения и старательно пыталась перенять технологию. Но как у брата, у неё никогда не получалось... Чего-то ей не хватало. Делал он поделки и из дерева. Находил корень или ветку, напоминающие какого-нибудь зверька, снимал кору, отсекал ненужное, покрывал лаком, затем прибавлял к какой-нибудь деревянной подставке. Ставил их куда-нибудь на буфет. Эти поделки по сей день стоят в мамином доме.

Сергей поступил в институт легко, на радиофизический, где конкурс был в те годы небольшим, так как учиться было там трудно. Лидия редко виделась с братом, жили они по разным общагам. По выходным, особенно летом, они виделись в деревне. Сергей худо-бедно чинил матери крышу, вечно плачущую по весне и во время гроз в подставленные миски и тазики, надрывающую душу монотонной гаммой капели, почему-то напоминавшей ей пытку заключённого в Древней Греции. Латал гниющее крыльцо, на которое становилось порой страшно ступить — досочки его качались, усыхали и осыпались трухой, расходясь друг от друга, будто люди в старости; клеил в комнате новые обои, закрывая чёрные, рвано обкусанные по краям дыры, прогрызенные мышами; красил облупившуюся, словно нежная кожа после жаркого южного солнца, веранду. Иногда же заставить его что-то делать было просто невозможно. Он целые выходные гонял на моторке по реке или удил рыбу. Однажды, когда он повёз их с подружкой покататься, она нашла в случайно незапертой носовой части наполовину початую бутылку водки и с удивлением поняла, что ни одна вылазка Сергея на реку не обходится без того, чтобы открыть этот носовой ящик.

Брат начал пить лет с двенадцати. Сначала это были бесшабашные компании деревенских друзей и одноклассников, потом, уже когда он уехал учиться в город, общежитские пьянки. Поначалу довольно невинные, но после одной из пьяных забав Сергей был отчислен. Третьекурсники, шумно празднуя 23 февраля, набрались — и в эйфории от избытка женского внимания и хмельных напитков стали мазать тортами столы в аудитории... Казалось, что это всего лишь безобидная студенческая забава перепивших юнцов, но как-то так получилось, что он был выведен зачинщиком этого безобразия. Из пятнадцати участников попойки, среди которых был и сынок замдекана, Серёжка оказался единственным уволенным из политеха. Больше в институт он не пошёл: загремел в армию, но вскоре был оттуда комиссован как эпилептик. Устроился на автозавод, но получал очень мало как не имеющий опыта и квалификации, однако ему да-

ли комнату в общежитии. Вскоре женился на девочке на пять лет его старше, женился по залёту, но та оказалась хорошей женой. И мать была рада, так как жена держала сына в «ежовых рукавицах», пить не давала, и угроза нехорошей компании, неотступно маячившая на обозримом горизонте, отступила. Его Наташа работала участковым врачом, бегала по лестницам целый день, поднимаясь в квартиры гриппозных и более тяжёлых больных.

С началом перестройки он, как и многие, ушёл с завода и кинулся в предпринимательство. Сначала торговал сигаретами, потом пытался делать табуретки на продажу, занимался ремонтом квартир и, наконец, стал торговать бензином. Тут у него дела неожиданно для всех пошли в гору. Он практически не пил. Купил машину: сначала старенькие «Жигули», но вскоре «Жигули» были поменяны на «Волгу-24», затем наступил черёд иномарок. Как все начинавшие свой бизнес, он крутился как белка в колесе, иногда снимая стрессы водкой. Каждый год теперь они втроём с ребёнком отдыхали на юге и даже съездили отдохнуть в Турцию. Сергей очень любил дочку Лизку, называл её не иначе как «зайкой», и Лидия Андреевна, глядя на эту его любовь к дочери и чувствуя недостаток в доме, однажды сказала брату:

— Если со мной что-то случится, ты забережь моих детей?

Брат молча кивнул. Ещё не пробежала тогда между ними чёрная кошка со вздыбленной шерстью и злобно горящими зелёными глазами, победно задрав хвост трубой, напоминающий чёрный столб дыма, сыпавшая искрами от наэлектризованной шерсти так, что удар током чувствовался на расстоянии. Ещё не страшно было перешагивать через день ото дня росший барьер с тоскливым предчувствием, что за барьером бездонная пропасть: угловатый камень покачнётся и неловко выскользнет из-под подвернувшейся ноги...

Она потом не раз спрашивала себя, что же заставило её задать этот вопрос? Она не собиралась умирать, да, конечно, в жизни бывает всякое, но её Андрей был хорошим отцом. Он был более надёжен и устойчив, несмотря на их весьма скромный достаток, чем брат... Что же это тогда было? Голос родной крови? Брат — он

ведь всё равно твоей крови, а муж чужой... Да, у них не было столько денег, сколько у Сергея... Но её муж не пил... Она не могла его упрекнуть в том, что он совсем не занимался детьми. И, безусловно, случись что с ней, он никогда бы не отдал никому своих детей, тем более пьющему деревенскому парню, пусть хваткому и предприимчивому. Да тогда были живы и родители Андрея. Неужели они бы отдали своих внуков в чужие руки? Нет, это трудно себе даже представить... Тогда почему вырвалась это фраза? И зачем она повторила свой вопрос Сергею ещё пару раз... И он снова согласно кивнул ей. Хотела ли она сделать больно Андрею? Но ведь тот не слышал её просьбы. Тогда почему? В знак их детской дружбы, привязанности? Но жизнь уже давно постепенно относилась их всё дальше и дальше друг от друга, словно два куска расколовшейся льдины вскрывшейся ледяной рекой... Неужели брат был роднее мужа? Нет. Никогда. Уже через несколько лет они перестанут видеться почти совсем, будут только сталкиваться, точно прохожие в толпе, на дне рождения матери, и Лидия Андреевна будет ревностно следить за его женой, чувствуя поднимающуюся к ней неприязнь от того, что та так по-хозяйски орудует в их доме, и, пугаясь этой медленно, но неотвратимо закипающей в ней ярости, будто молоко, что поставили на раскалённую плиту и оно медленно приподнималось в кастрюльке, пока температура не достигла критической... И вот молоко стремительно побежало через край...

Когда и как разошлись они с Сергеем? История их разрыва началась с того, что однажды невестка в свой приезд к их маме, когда Лидия с детьми были на даче Андрея, помогала свекрови убраться в доме и попросила у той золотые колечки для внучки Лизы. Сама ли мать показала их снохе или Наташа случайно наткнулась на них, но колечки были подарены снохе, вернее внучке, дочке любимого сына. Лидия Андреевна не носила колец, как и мама. Но что-то вдруг такое в ней щёлкнуло, будто ногу неловко поставила на мышеловку. Нет, не попалась, конечно, но больно ударило, прищемило нежную кожицу, до кровоподтёков, до жёлто-лиловых синяков, напоминающих бензиновую плёнку на глади озера.

Пожалуй, именно то, что он теперь преуспевающий торгаш, и разводило их всё дальше и дальше друг от друга.

Впрочем, всё чаще Сергей был мрачен, раздражителен и агрессивен. Редкая их встреча теперь обходилась без мечущих молниями перепалок и стычек, кончавшихся градом обвинений, которые долго потом не таяли и лежали ледящим грузом на зелёной траве её воспоминаний и родственных привязанностей. «Родная кровь» впитала в себя бензиновые масла — и очищение уже было маловозможно. Дух наживы, будто алкоголь или наркотик, кружил голову, море слёз, казалось, по колено, и жизнь спешили перейти, как поле.

Когда Сергей после одной из своих первых поездок в экзотические морские страны с эйфорическим опьянением рассказывал о том, как он спускался на воздушном шаре, Лидия Андреевна почему-то подумала, что он ещё не спустился. Он ещё медленно парит, подхваченный мощным потоком воздуха, несущим его туда, где можно попасть на выставленные скрепленными копиями ветки деревьев. Приземленье ещё впереди, но оно неизбежно и неотвратимо. Точки-домики всё растут и растут в своих размерах, и, поначалу захваченный красотой открывшегося сверху вида, ты уже пугаешься вырастающих громад, маячащих своими острыми закопчёнными трубами и железобетонными крышами, ощерившимися вилами антенн.

Его тёща жаловалась матери, что Сергей пьёт, что его надо лечить, что он дурно влияет на её дочь, вьёт из неё верёвки и вкладывает в её голову свои мысли, превращая в неврастеничку. Со стороны нельзя сказать, что у них с женой были плохие отношения. Иногда он прилюдно обнимал её за плечи, называл «мамкой», щедро украшал, почти как мусульманин, золотом: на её изящных руках остались без колечек лишь большие пальцы.

Лидии Андреевне было смешно, что та насаживала столько колец, а ещё серёжки, три цепочки... И впрямь как у восточных народов... Но там носят, так как боятся, что их выгонят из дома и они смогут забрать только то, что на них надето... А тут...

Лидия Андреевна частенько видела брата с

дочерью на коленях. Дочь была уже здоровенная лошадка, но это ничего не меняло. Серёга всё так же, будто маленького ребёнка, сажал её на колени, слегка покачивая, будто в детской игре «По кочкам, по кочкам...». Кто её придумал, эту игру? Это «По кочкам, по кочкам... В яму ух...»? И зачем сочинили? Кто-то решил с детства готовить ребёнка к вечной скачке по кочкам, когда того и гляди у рысака, несущего тебя в никуда, подвернётся нога, или сам оступишься, споткнёшься... Знаешь всё это — и передвигаешься осторожно, смотря под ноги и оглядываясь назад, а потом вдруг раз... Всё равно летишь в яму, норovia переломать не только ноги, на которых твёрдо стоял на земле, но и хребет... Только уже не смеёшься, как в детстве, от неожиданности, чувствуя, что тебя всё равно удерживают родные руки — знаешь, что это всё игра, что это всё не серьёзно... И снова взбираешься на тёплые колени.

В последние годы они почти не встречались с братом. Иногда соприкасались через мать, а так... Жизнь окончательно развела их.

Они были дружны в детстве... Но почему из детских воспоминаний у Лидии Андреевны постоянно всплывает одна сцена?

Июль. Они качаются в гамаке, забравшись в него с ногами и сидя друг против друга. Гамак был привязан к двум корабельным соснам, и поэтому там была всегда тень и спасительная прохлада в знойный летний день. Сосны простирали над их головами свои мохнатые зелёные лапы, ветер тихонько их покачивал, будто баюкал, раздвигая просвет в голубое небо, на котором не было ни облачка. Трудяга дятел где-то упорно долбил наверху. Лидочка запрокинула голову, ища по стуку красную шапочку этого врача деревьев, нашла. Дятел сидел высоко на шершавом стволе, обросшем рыжей коростой, и методично её долбил, делая коротенькие передышки.

— Смотри! — радостно закричала она брату, собираясь поделиться увиденным.

И в этот момент оказалась на земле. Острые бугорки шишек вдавились в ушибленный бок. Услышала злорадный смех брата, медленно понимая, что это он специально раскачивал гамак, вцепившись в его верёвки, чтобы она оказалась на траве... Она до сих пор помнит эту

свою боль и недоумение от того, что она хотела поделиться своей радостью и протянула руку к дятлу, указывая брату путь для его взгляда, а он воспользовался её непосредственностью, освободил себе место в гамаке и при этом противно ржёт, как он ловко её скинул. Задавив в сердце плач, она засмеялась тоже... Она до сих пор не понимает, что заставило её это сделать... Почему лежала в неловкой позе на земле, вдыхая плесенный запах мха, примяв щекой колючую траву и чувствуя виском расщеперившиеся дикобразом шишки? Почему побоялась показать, что ей больно, что она растеряна и обижена, а вместо этого заискивающе подвизгивала кутёнком, глядя на братца снизу вверх? Может быть, от своей первой растерянности и потерянной в этом полёте уверенности, что не могут твои близкие поставить тебе подножку и при этом ещё и смеяться?

## 9

**Е**го нашли поутру под их окнами... В полдень в их дверь позвонил участковый и спросил:

— Там под окном человек лежит. Не ваш?

Она вздрогнула, чувствуя, как горло перекручивает затягивающий его жгут и обмякают ноги, становясь силиконовыми, и, пружиня и качаясь на них, будто гуттаперчевый мальчик, пошла в комнату свекрови, где остановился брат. Внутренние створки окна были распахнуты, словно недочитанная книга. Наружное окно, заиндевшее причудливыми узорами, ощерилось огромной звездой с расходящимися лучами обледеневших трещин, из которой тянуло ледяным зимним воздухом мироздания. Безмятежные снежинки влетали в комнату и тут же одна за другой исчезали, утратив свою кружевную белизну, перестав быть единственными и неповторимыми, в мгновение превращаясь в мокрую лужицу на подоконнике, где становились нераздельно слитыми с другими, беспечно залетевшими на тепло...

Всё лицо и руки брата были изрезаны осколками разбитого стекла, просыпанными на тротуар, будто сколотый дворником лёд. Часть порезов была стёрта, точно пемзой, асфальтом, который дворник

очистил поутру для спешащих по делам пешеходов, нещадно вколачивая тяжёлый лом в толстый, чуть припорошенный начинающимся снегом лёд, — чтобы ступать по двору было не страшно и все оставались целы.

Что мерещилось Сергею, когда он смотрел в звёздный колокол неба, ставший внезапно похожим на старый, дырявый, траченный молью зонт. Жёсткий хват маленьких хищных челюстей прожорливой личинки — и новая звезда... Бабочки, летавшие тут и там в пыльной квартире, проделали себе путь к звёздному небу... Купол раскинут всё в том же доме, где пыль, похожая на пропитавшийся гарью и выхлопными газами тополиный пух, лежит мохнатыми гусеницами по углам, под диваном и шкафом... Жёлтый равнодушный свет брызжет из малюсеньких дырочек, и сладко веет наркотным холодом мироздания, ледяным, словно лоб, который целуешь в последний раз...

Она долго потом думала, был бы он жив, не забери они Сергея под Новый год домой? Жена положила его в больницу и подала на развод. Следует отдать ей должное, но брата уже не раз увозили с белой горячкой, не спящего по несколько суток и несущего воспалённый бред, похожий на обрывки звука с затёртой временем киноленты. Лиза выросла — и жена Сергея перестала бояться остаться беззащитной. Сноха приходила к нему в больницу, но жить с ним больше не хотела. Впереди были праздники, выписывать Сергея никто не спешил, но мать почему-то всё время зудела, что того надо оттуда забирать, иначе он не выкарабкается. Она сама вылечит его молоком на свежем воздухе. Вся интоксикация пройдёт. А что он будет делать в праздники в духоте в больнице? Да ещё и дружки заявятся!

Андрей забрал тогда Серёгу из больницы и привёз к ним переночевать. Назавтра утром они должны были ехать вместе к маме...

О чём он думал, глядя в этот дырявый зонт? Что зонт подхватит его и он будет качаться в люльке, как они любили когда-то в детстве, забравшись с ногами в гамак, в который мать приносила старое дырявое одеяло? Они раскачивались всё сильнее и сильнее, норovia вывалиться из него, будто из опрокинутой на борт лодки, которую захлестнула случайная вол-

на... Гамак взлетал всё выше; они, заходясь от смеха, пихали друг друга ногами, откуда один из них не летел вниз, а другой судорожно вцеплялся в верёвку, врезающуюся в пальцы до долго не проходящей красноты, запечатлевшей на нежной ладони свои узлы, будто напоминая о том, что эти узлы уже не развяжутся: их можно только разрубить...

## 10

**П**ервый раз приступ эпилепсии у Сергея начался в деревне. Он был какой-то беспокойный в тот свой приезд. Потом вдруг сорвался и, невзирая на плохую дорогу (в колее стояла мутная вода, и машины ехали, точно катер: их с крышей окатывали мутные брызги из-под колёс...), поехал в город, сказав, что скоро вернётся. Это потом она поняла, что ездил он туда за бутылкой...

На следующий день мать попросила его устроить люстру. В той горела одна последняя лампочка. Сергей встал на табуретку, принялся ковыряться в патроне и вдруг, неожиданно взмахнув руками, полетел вниз. Сначала Лидия Андреевна подумала, что табуретка покачнулась и он просто потерял равновесие...

Брат лежал на давно не крашенном полу, ставшим похожим на ковёр из прошлогодних осенних листьев, до жилки замороженных и оттаявших вместе со сходом снега, мутные глаза были открыты, и его была судорога: всё его тело ходило ходуном. Лиде показалось, что он пытается разбить себе голову. По его подбородку вязкой стружкой текла слюна, намочив ворот старенькой застиранной и выцветшей рубашки, сдавливающей горло. Брат резко дёрнулся — и в Лидию полетела выстрелянная маленькая пуговица, больно ударив её локоть.

Потом это повторялось ещё и ещё. Она уже не просила Сергея забрать её детей, если с ней что-то случится...

Но он по-прежнему успешно занимался бизнесом. Наташа несколько раз клала Сергея в наркологический диспансер. Первый раз это произошло, когда Серёжа увидел из окна предвыборный митинг с пиратскими знамёнами и громко закричал: «Угарный газ пошёл!» Тёща

тогда вызвала бригаду. Врач сказал: «Готовьтесь к худшему. Мы его из состояния интоксикации не выведем». Хрупкая Наташа, непрестанно плача: «Как я без него буду?», как-то сумела договориться, чтобы Сергею сделали диализ.

Через три месяца он снова торговал бензином, хотя потерял собственную бензозаправку с маленьким магазинчиком и автомойкой на ней. Бензозаправка оказалась у его соучредителя. Пару лет Серёжа не пил, потом сорвался снова. И Наташа опять отправила его в наркологичку, не слушая причитаний свекрови о том, что это может повредить его репутации и карьере.

## 11

**Л**идия стояла перед открытым окном и смотрела на затянутый чёрной органзой город, в прорези которой просачивался жёлтый равнодушный свет, льющийся из окон соседних домов. Внизу пробегали мелкие букашки-машины. У неё закружилась голова. Глядя в чернильную пропасть, будто в угольную шахту, внезапно подумала: «Как так можно шагнуть в эту чёрную бездну, разрезая неловкими взмахами рук пустоту? Взять — и вот так в одно мгновение перелететь из одной жизни в другую, откуда не будет возврата?» Город спал. Стояла короткая июньская ночь. Тянуло лесной сыростью от земли. Небо было какое-то словно изъеденное хлоркой: чёрный цвет пропадал местами, точно неловкий мастер размывал побелку и ею всё забрызгал. Слезающиеся глаза домов-циклопов глядели на неё равнодушно и свысока.

Остро почувствовала себя ничтожной мошкой, которой суждено умереть, потому что она спалила свои крылья, ринувшись на будораживший и завораживающий её свет в ночи, прикинувшийся гигантским для неё апельсиновым апельсином, налившимся изнутри золотистым нектаром.

Вдыхая свежий отсыревший воздух, Лидия Андреевна поёжилась, боясь заглядывать в чёрную яму, чувствуя, как холодок страха пополз по спине. Осторожно встала на письменный стол, стараясь не подходить к краю, — и захлопнула окно.



## 12

**М**ама пережила Серёжу на пять дней. Просто почувствовала себя плохо, вышла на крыльцо подышать. Пока бегали за таблетками, её не стало. Быстро и легко. Лидия Андреевна стояла в растерянности над ещё тёплым телом, чувствуя, что всё внутри у неё парализовало, но так, как будто судорога всё свела болью и не можешь пошевелиться и сдвинуться с места... И ничего нельзя отметить. А надо очнуться. Смотрела на серое лицо, застывшее и внезапно ставшее маленьким и сморщенным, будто кукольным; на чёрную пещеру беззубого рта, оползающую по краям синей глиной; на вытянувшуюся шею, почему-то напомнившую ей отжатую простыню; и голову с реденькими седыми волосами, ставшими похожими на тополиный пух. И это всё, из чего она когда-то появилась? Через три дня не останется и этого... Растворится в небытие. Затаится на доньшке колодца памяти, становящегося с возрастом всё глубже, до тех пор, пока жива сама. А там уйдёт без следа, продолжая себя во внуках и правнуках...

Лидия Андреевна внезапно почувствовала, что её будто пригибает к земле, что она идёт по улице, еле передвигая ноги, ровно вековая старушка. Стулится всё больше, становясь похожей на знак вопроса. Раньше она никогда такого не замечала. Обнаружив это, она постаралась выпрямиться — и с гордой осанкой царицы медленно шла, напряжённая, будто натянутая струна. Казалось: тронь — и забренчит тревожно. Что-то такое непонятное незаметно произошло с её позвоночником... Взял — и погнулся, словно ветка, отягощённая плодами. С этого дня она постоянно стала отмечать у себя это своё скрюченное состояние. Она будто водрузила на спину мешок, в который был засунут весь скарб её прошлой жизни. Этот мешок давил ей на лопатки, досадно пригибал к земле. Лямки тяжёлой ноши врезались в плечи, нате-рев их до боли и красноты. Временами она просто еле переставляла ноги, боясь оторвать их от земли... Волоком... Волоком... Волоком... Будто свинец в подмётке или налипла тяжёлая глина, пока она ползла по бездорожью, утопая по щиколотку в развезённой колее.

Состояние было — точно оборвалась связь со своими корнями и она, как дерево, подпиленное под корень, лежала на сырой земле, не в силах дотянуться до её живительной влаги, и чувствовала, как её зелёные листочки начинают сворачиваться и засыхать прямо на ветвях. Вчера в её жизни были родные, что безоговорочно её любили, несмотря на любые её поступки. Любили просто за то, что она есть, как воздух, которым дышали, как воду, что пили, не чувствуя её вкуса. Только теперь она стала понимать, что ни муж, ни дети не могут заменить родителей... Она будто лишилась крыла, под которым чувствовала себя в безопасности. Нет, у неё уже давно не было физической опоры со стороны родителей, но она знала, что их дом — это место, где её действительно готовы заслонять от ветров жизни.

Неожиданно она почему-то вспомнила себя маленькой девочкой у отца на руках и так явственно почувствовала колючесть его свитера домашней вязки, пропитавшегося запахом дешёвого табака. Руки обнимали её так крепко и надёжно, как никто уже после не обнимал. Она была оторвана от земли и твёрдо знала, что эти руки не уронят её НИКОГДА. Она вспомнила, как однажды сразу после дождя они пошли с отцом в лес. Было так скользко, что она никак не могла подняться по глинистой горе. Она просто съезжала вниз, хотя отец и продельвал для неё ступеньки, вминая размокшую землю своими огромными сапогами. Он шёл впереди, протянув ей назад руку и таща её за собой на буксире. Нынче она чувствовала себя на той же глинистой горе. Только руку уже никто ей не протягивал... Она будто пыталась уцепиться за кусты, росшие тут и там вдоль её пути; держась одной рукой за один куст, тянулась к следующему — и так передвигалась, всё время обмирая внутри, что вот сейчас вырвет растение из земли.

Лидия Андреевна давно уже больше опекала мать, чем чувствовала её помощь, но всё равно она постоянно ощущала, будто солнечные лучи на лице после долгой и снежной зимы, это мамино желание защитить. В последние годы её жизни, случайно слыша, как мать говорит о ней и внуках подругам, она удивлялась той её гордости, которая напоминала пробившийся

родник, придавленный камнем, что спокойно обогнул это препятствие и с радостным журчанием устремился под горку.

### 13

Она помнит свой страх, что дети станут кем-то совсем не тем, кем хотелось ей. Она как бы вычертила пунктиром генеральную линию их жизни — и любой их неосторожный шаг в сторону с этой линии, по которой надо было идти прямо, переставляя ногу так, чтобы пятка поднимаемой ноги опустилась в аккурат к носочку той, что твёрдо стоит на земле, вызывал у неё ярость, налетавшую, словно шквалистый ветер, ломающий вековые деревья, но не устоял.

У неё росли хорошие, домашние дети. Она ими гордилась и, если женщины на её работе могли часами обсуждать, что их отпрыск неделями не появляется в школе, а из дома уходит на прогулку после десяти вечера, то, случись у неё такое, она бы, наверное, посчитала свою жизнь никчёмной и неудачной. С плохо скрываемой радостью, переполняющей её, будто подходящее тесто, Лидия Андреевна хвалилась их успехами, но дети даже помыслить себе не могли, что это так. Им частенько приходилось слышать, что они дураки, ни на что не способны и никогда ничего путного из них не выйдет. То, что она рассказывает о них постоянно с дрожью в голосе, как взвизгивающая собачка, завидевшая своих надолго исчезающих хозяев, удивило бы их неимоверно.

Лидия Андреевна смотрела на подрастающих детей и думала о том, что молодость миновала, раз у неё уже такие большие дети. Когда и как успела пролететь жизнь, она и не заметила. В то же время, когда она смотрела на своих детей, у неё было чувство, что те по капельке забирают частичку её. Она узнавала свои интонации, свою походку, своё выражение глаз. Когда в их дом приходили друзья Андрея, что были чуть моложе его, она с удивлением отмечала, что те разговаривают играющими голосами уже не с ней, а с их дочерью...

Она очень боялась, что с детьми может что-нибудь случиться, особенно с Гришей. Он всё

время казался ей маленьким, он и был в их семье самым маленьким. Подруги говорили ей, что она зря так опекает его. Мужчина должен быть защитником, а какой же такой защитник, если он растерянно смотрит на неё, столкнувшись с реальностью, но Лидия Андреевна ничегошеньки не могла с собой поделаться. В ней постоянно жило ощущение, что дети без неё потеряются в тёмном лесу жизни. Их обязательно надо крепко держать за руку. Отойдут на шаг — и потеряются. Там аукай не аукай, не докричишься. Только и услышишь собственное эхо.

Если дети долго задерживались, она места себе не находила и начинала обзывать всех их друзей. Дети злились на неё, когда на следующий день им с ехидством говорили, что их мать вчера их искала. Сын становился похож на маленького разъярённого хорька, которого в её детстве поймали и подарили ей соседи. Глаза горели непримиримым огнём, рот искривлялся в преддверии то ли крика, то ли детского плача, обнажая неровный ряд мелких зубов. Шерсть вставала дыбом, поднимаемая электричеством, пробегающим по нервам. Погладь — и ударит током, упадёшь замертво в шоке...

Ей удавалось держать детей в руках. Дальше изматывающих всех перепалок ссоры с детьми никогда не заходили: из дома никто не убежал, в следующий вечер возвращались с учёбы вовремя, на телефоне часами в её присутствии не висели, друзей табунами не приводили.

Когда в её сердце поселилось сожаление о своих утраченных возможностях, когда она впервые почувствовала свой возраст? Может быть, тогда, когда посмотрела на Василису и с удивлением подумала, что дочь уже большая? И выросла она так незаметно и почти в тебе больше не нуждается. Её смутило собственное осознание даже не того, что дочь молода и очень симпатична, а то, что она уже взрослая, то, что рассуждает по-взрослому и поступки у неё стали взрослые. Да, она огрызается на её приказания, но ведь она иногда уже ориентируется лучше Лидии Андреевны в этой жизни. Этот факт больше всего поразил Лидию Андреевну. Ей казалось, что сама она не была такой в возрасте Василисы. Дочь будто говорила: «Твоё время истекает. Подвинься в тень.

На солнце морщины лишь становятся резче: жёсткие складки у рта делаются глубже и почему-то загибаются вниз, будто под тяжестью; от глаз бегут лучики, словно от брошенного камня, попавшего в пуленепробиваемое стекло — на осколки не разлетелось, а видно стало через него плохо».

## 14

С дочерью они постоянно ругались. Она не смогла допустить мысли, что её маленькая девочка выросла — и теперь живёт своей жизнью, дверь в которую была наглухо закрыта от неё сначала на два замка, потом на дверную цепочку. Дочь даже не пыталась приоткрыть дверь и поговорить с ней через цепочку. Она просто смотрела в дверной глазок, видела её — и тихо стояла за дверью, делая вид, что там её нет. А потом отходила на цыпочках, боясь быть услышанной. Лидия Андреевна знала, что она там, за дверью. И тогда в ней поднималась такая тоска и злоба, что захлёстывала мутной морской волной, поднимая со дна остатки мусора и морских медуз, обжигающих будто крапива, если к ним прикоснуться, но неукротимо тающих на глазах, как только они оказывались выброшенными под ласково пригревающее солнце...

Василиса всё время говорила ей, что она не любит её, а любит только сына, любит всепоглощающей, испепеляющей любовью. Это была неправда... Она любила её не меньше, чем сына. Но это была любовь-поединок двух женщин, одна из которых моложе, безрассуднее и у которой вся жизнь впереди. Вечный поединок. Лидию Андреевну совершенно выводил из состояния равновесия этот вечно огрызающийся голосок дочери, словно скрежет металла по стеклу. Тут же подбрасывало, как на батуте, штормовой волной — и начиналась качка. Двери грохали со стуком сгружаемых с самосвала досок; форточки хлопали в ладоши; рассыпалась на мелкие осколки посуда; трещала ветхая ткань халата, располосованного на две части; на руках оставались синие крупные синяки, напоминающие укусы маленьких ядовитых пиявок, присосавшихся словно незна-

чай, пока разгребали руками колыханье водорослей-предчувствий, плывя по волнам своих подёрнутых зыбкой ряской воспоминаний.

«Что за вспышки ярости были у матери?» — не раз думала Василиса. Иногда Лидия Андреевна замахивалась на детей или мужа, будто собиралась стукнуть. Вася в таких случаях инстинктивно втягивала голову в плечи, ей казалось, что мать сейчас ударит. Но нет... Рука, повисев в воздухе несколько секунд, безвольно опускалась плетью вдоль тела...

Лидия Андреевна любила детей ревностно, патологически...

Василиса росла послушной домашней девочкой. У неё почти не было друзей, она никогда не раздражала их с Андреем частыми приходами своих друзей, многочасовым трёпом по телефону и частыми отлучками из дому. По субботам она убиралась в их большой квартире, стирала и делала уроки. Часто читала, закрывшись у себя в комнате.

В её детстве был ещё случай, когда соседка принесла приглашение на новогоднюю ёлку. Билет был один. Ёлка была в большом Дворце культуры, родителей на неё не пускали: они ждали детей в вестибюле. Василиса так была рада этому билету. Зажмурившись, она представляла себя в большом зале, где на сцене идёт завораживающая дивом сказка обязательно с хорошим концом. Занавес медленно открывает заснеженный лес, освещённый в ночи фосфоресцирующей луной, летящим фейерверком бенгальских огней и цветными юпитерами с балкона: он кажется лиловым, будто пятипалая сирень, которую папа научил искать в кистях соцветий на даче, чтобы стать счастливой... Она и жила несколько дней с ожиданием этого чуда...

В выходной за обедом она нагубила маминной подруге — и была наказана. Ей выговорили, что на ёлку она не пойдёт, но подарок ей всё равно, так и быть, возьмут. Вася сначала даже не верила, что не пойдёт, этого просто ну никак не может быть, а потом до неё дошло, что да, это так. Только причина не в том, кому и что она сказала, а в том, что родители просто боятся пускать её одну в большой дворец... Когда она это осознала, то плакала опять целых три дня, стараясь, чтобы никто не видел, и ей боль-

ше уже не казалось, что в Новый год происходят чудеса. А сладости в подарке, который отец принёс с ёлки, она тогда есть отказалась.

Василиса не раз слышала, как мама говорила о каких-то знакомых своих знакомых:

– Выходила бы замуж, пока ещё можно.

Она усмехалась и думала о том, что её вот замуж не пускают и говорят ей: «Замуж? Зачем? Ты что, бросишь работу? Это же надо додуматься, в наши времена замуж!»

Вася была первым ребёнком, и, в сущности, с ней не было у родителей каких-либо проблем. Она окончила школу с золотой медалью, как медалистка поступила в университет без экзаменов. Она редко ходила гулять, Лидия Андреевна даже иногда просто выгоняла её на улицу, например покататься на лыжах. Лидия Андреевна поймала однажды дочь на том, что та, вместо того чтобы пойти кататься в парк, мочила лыжи водой, будто растаявшим снегом, и спокойно сидела на диване с книжкой в руках. Дочь редко выходила из дома, но если вылезала, то даже её визит в кино, театр, за город вызывал необъяснимое раздражение такой силы, с которой штормовой ветер вырывает с корнем вековые деревья. Лидия Андреевна иногда сама себя спрашивала: «Почему?» Конечно, она боялась глухих неосвещённых улиц, где ей мерещились на каждом углу тёмные личности. Да так и было всё... Но она ловила себя на мысли, которую даже не очень прятала от себя, что она не может не ревновать дочь. Нет, это была ревность не к мужчинам. Это была ревность к утраченным возможностям успеть: успеть состояться, успеть стать счастливой, успеть полюбить... Осознание, что ты пыхтишь в своём вездеходе-уазике по глубокой колее, в то время как разноцветные юркие машины даже и не пытаются сунуться в эту разбегенную и развожженную глину: они просто сворачивают на зелёную травку, промытую до скрипа дождями и пригнувшуюся к земле под тяжестью повисших на ней капель воды.

Как-то получалось так, что Лидия Андреевна изгоняла почти всех друзей детей. Василиса хорошо помнит, что в детстве у неё было полно подружек, потом друзья как-то незаметно исчезли, словно цветы в неухоженном саду, растающем колючим чертополохом и жалящей крапивой... Она просто перестала их звать, так

как Лидия Андреевна умудрялась создать такую обстановку, что казалось: вот-вот проскочит искра, так всё было наэлектризовано — будто волосы под пластиковым гребнем, все стояли навтыжку. Она знала, что даже в их большой квартире, если напрячь слух, то можно услышать все разговоры. Это угнетало её. Она стала бояться вывести из равновесия родителей. Потом ей совсем не хотелось лежать голой беззубкой в распахнутой любопытному взору перламутровой ракушке на отмели... Ей было просто удобнее не иметь друзей...

Лидия Андреевна просто места себе не находила, когда дети уходили из дома. Мысли её становились разобраны, будто пазлы, и собрать их никак не получалось: словно что-то было потеряно и поэтому картина никак не складывалась. Лидия Андреевна становилась рассеянной и, готовя ужин, частенько забывала бросить соль, а специи убирала в книжный шкаф... Делала всё на автомате, чувствуя всё нарастающую в глубине тревогу. Как гроза собиралась. Становилось душно, парило. Вот уже и дыхание затруднено.ловишь ртом воздух, будто астматик или рыба, выброшенная на берег рыбаком. Кажется, что вода — вон она, близко, можно по роднику доплыть до полнокровной реки... Но нет! Куда там! Лежишь на боку, смотря мутнеющим глазом в бездонное небо, лишь по цвету напоминающее озеро в прозрачный солнечный день, чувствуя, как высыхает и стягивается кожа, невидимая для чужого глаза под серебристой чешуёй.

Когда Лидия Андреевна начинала голосом, не требующим каких-либо мало-мальских возражений, давать распоряжения, дети реагировали по-разному. Гриша почти всегда молчал и шёл согласно всё исполнять, Вася чаще всего тоже всё безропотно делала, но иногда начинала возражать голосом капризной девочки или просто огрызалась. Лидия Андреевна, чувствуя, как накотившая ярость выносит её опять на гребень, обрушивалась волной на дочь: сдёргивала с неё покрывало, которым та обматывалась с головой, или звукоизолирующую подушку, под которую была зарыта её голова. Вася иногда придвигала массивный письменный стол со стороны закры-

той двери в своей комнате. Настоящих замков в комнатах не было... Но и это не помогало. Лидия Андреевна пару раз сдвинула стол, оставив на полу длинные белые царапины, похожие на гноящиеся раны.

Это так страшно, когда начинаешь ощущать неприятие собственными детьми. Когда недавно послушные и ластящиеся к тебе мурлычущей кошкой создания принимаются вдруг ощериваться хорьками, орать на тебя, хлопать дверьми так, что стекло в серванте берётся тихонечко так позвякивать, будто чокается само с собой, желая всем здравствовать... И ты чувствуешь, что уже ничего не можешь сделать... Совсем бессильна противостоять этой силе незаметно выросших на дачном участке диких деревьев, заслоняющих свет в твой добрый огород... Нет, ты, конечно, видела, что они растут, год от года становясь всё мощнее, но сначала необузданная радость: ах, как хороши они в этой своей дикой стройности и несут спасительную тень, потом жалость: пусть порастут ещё, затем неожиданно понимаешь, что сама справиться с ними уже не в состоянии. Да и подмога только что и сможет сделать — так это уронить на крышу дома...

Лидия Андреевна иногда так боялась появившихся в её жизни вспышек от своих чад, что ей порой хотелось как-то подластиться к ним. Нет, в тот момент своего смятения — вовсе не потому, что она испытывала к ним нежность, а именно из-за страха нахождения в неустойчивом равновесии. Будто находишься на деревенских качелях: кто-то тяжёлый уселся на противоположный конец доски, подбросив тебя резко вверх, — и ты сидишь и болтаешь в воздухе ногами, что есть силы вцепившись в замшелый край доски, боясь съехать вниз, как с ледяной горки. Тогда она, набрав полные лёгкие холодного воздуха, заискивающим голосом начинала говорить с ними, подсознательно выкручивая и растирая беспокойные пальцы собственных рук. Она принималась что-то суетливо им рассказывать своим изменившимся до неузнаваемости голосом, становящимся похожим на тот, каким она ворковала с Андреем в молодости в самый разгар их любви. Иногда

что-то вкрадчиво спрашивала, чувствуя, как замирает сердце, будто на свидании, когда впервые признаёшься в любви и боишься услышать: «Нет. Я тебя не люблю и никогда не полюблю».

Странно то, что если она слышала это «нет!», то теперь, как в юности, Лидия Андреевна не уходила прочь, втянув голову в плечи, будто взъерошенный цыплёнок, и стараясь слиться с отброшенной на стенку дома собственной тенью, а, наоборот, гордо вскидывала голову, чувствуя притекающую к щекам кровь и закипающую в жилах ярость. И снова летела чашка на пол, истерично взвизгнув разлетающимися по комнате осколками, вновь хлопали взрывающимися забродившими банками двери, голос срывался, будто лыжник с трамплина, — и летел в «никуда» над пустотой с предчувствием приземления в место, откуда возвращение будет долгим и утомительным. И снова впереди была бессонная ночь, когда луна, разливающая свой ртутный свет, оставит металлический привкус на языке, а глаза станут нестерпимо жечь, как от солнечного ожога.

Теперь Вася хотела замуж. Нет, не то чтобы ей нужен был мужчина. Она просто задыхалась от какого-то душного воздуха пустыни, в который вплеталось жаркое дыхание всё иссушающего ветра, бросающего горстями песок в глаза.

У Лидии Андреевны была относительно спокойная семейная жизнь. Почему же она при этой своей хорошей семейной жизни была так против, чтобы Василиса имела семью? Вася никогда не могла этого понять. Что это было? Ревность? Чёрный злобный зверь ревности, поваливший жертву на пол и нежно лижущий ей лицо? Нежелание делить родного человека с другими? Нежелание впускать чужих на «свою территорию»?

Лидия Андреевна прекрасно понимала, что замужество дочери их разведёт — Вася уже никогда не будет с ней целиком, она будет с другим, чужим совсем человеком, мать станет лишняя, ненужная. Она уже и сейчас ненужная, раздражает только, мешает жить. Да и за кого замуж? Был бы кто-то хороший...

...Почему Лидия Андреевна не хотела, чтобы

Василиса вышла замуж? Был ли это эгоизм? Наверное, да... Ребёнок — это сначала просто твоё, твоя кровиночка, которой ты безгранично предан и служишь день и ночь. А потом кровиночка эта уже не твоя: она удаляется от тебя всё дальше и дальше, как бумажный кораблик, выпущенный из рук, чтобы плыть по весенним ручьям. Кораблик был заботливо сложен, чтобы стать подхваченным бурными мартовскими ручьями. А ты бежишь рядом и любишь плоды своего труда, а потом вдруг всё, внезапно оступаешься, подвёртываешь ногу — и кораблик несётся прочь, становясь всё меньше и меньше, превращаясь в еле заметную точку, несётся, чтобы влиться с ручьём в большую реку. А ты сидишь в луже, растирая лодыжку — и позвать на помощь некого. Чтобы подняться, нужно хотя бы почувствовать опору в протянутом тепле ладони, за которое можно цепко ухватиться скрючившимися в агонии пальцами.

## 15

**В**асилиса до ужаса боялась умерших. Когда в их подъезде выставляли крышку гроба, она робела выходить из дома в подъезд, и если очень было надо, то просила отца проводить её. Чего она боялась? «Бояться надо живых», — говорила бабушка. Но живых она пока ещё не боялась... Слово «смерть» вызывало у неё какой-то мистический ужас. Она вприпрыжку неслась мимо страшной соседской квартиры... Она пулей пролетала мимо украшенной нежными рюшами крышки, вдыхая свежий запах недавно струганной доски, стараясь не смотреть на гроб. Её никогда не брали на чужие похороны. Но однажды, когда она гостила у бабушки в деревне, умерла соседка через дом, тётя Люся. Василиса немного дружила с её внучкой, хороводилась с покойной и её бабушка. Не проводить в последний путь в деревне было нельзя.

Она стояла рядом с бабкой, стараясь не смотреть на жёлтое, сморщенное, будто печёное яблоко, лицо, лежащее в небесно-голубом ящике с оборками и обрамлённое васильковым шёлковым платком с какими-то белыми

разводами, напоминающими парашюты одуванчиков, парящие над озером; просто смотрела в пространство, ушла в себя...

Думала о том, что вот эта страшная бабушка тоже когда-то была девчужкой, перед которой вся жизнь лежала раскатанной скатертью и казалась бесконечной, будто бескрайние российские просторы. А пролетела, как брошенный мячик в детской игре. И не поймали, и обратно не кинули... Пролетела мимо протянутых рук в кусты колючего шиповника, растущего среди зарослей чертополоха под забором. Да ещё волосатая крапива выросла, как страж на пути, очерилась всеми зубьями своих листьев. И не сунешься. Девчушка кого-то страстно любила, выходила замуж, в муках рожала детей, строила дом и выращивала огород, постепенно превращаясь в дебелую бесформенную тётку, всё меньше обращающую на себя внимание, но чей молодой лик всё явственнее проступал в её детях и внуках. Да, она умерла, но оставила частичку себя в них. И в этом была мудрость жизни и её жестокость. Слово выполотый никчёмный сорняк проявлял свою живучесть и продолжал буйно куститься молодыми побегами. И всё же была для Василисы какая-то пока ещё не понятая чудовищная несправедливость в том, что вот человек жил, карабкался по осыпающемуся склону вверх, год от года слабея от долгого и изматывающего маршрута, но вырастил детей, создал уютный дом, в котором для него рано или поздно не оказывается места.

Она спрашивала себя, почему люди боятся даже любимого человека, перешагнувшего последнюю черту, и торопятся вынести поскорей даже самого любимого покойника из дома?

Она подумала тогда, что не хочет стареть, превращаясь в такое же печёное яблоко, чтобы потом навсегда исчезнуть с лица земли, хотя и оставив себя в детях и делах. Она не хочет, чтобы по небу плыли только что вылупившиеся пушистые лебедята облаков без неё. Она не хочет, чтобы кто-то без неё утопал по пояс в некошеной траве, запутавшись в сетях вьюнка, нежно оплетающего розовые шапки клевера, из которых можно было выдёргивать соц-

ветия по одному и высасывать их сладостный сок, осыпая руки жёлтой пылью, будто сухим колером.

## 16

В тот вечер они опять разругались. Василиса сказала, что идёт в кино на последний сеанс. Лидию Андреевну захлестнула налетевшая, будто штормовой ветер, ярость. Она сама не могла ясно назвать её причину. Просто она представила, что её девочка будет сидеть в обнимку в кинозале со своим никчёмным новоявленным приятелем Илюшей, способным выдувать лишь мыльные пузыри и радостно подпрыгивать, видя их переливы... Он и провожать-то домой её не пойдёт, так как боится опоздать на последний автобус, уходящий в пригородную черту города, что почти город, но рядом с кладбищем, ощерившимся многочисленными мачтами вросших в ил судёнышек. И её девочка побежит одна по пустым и тёмным улицам... Нет, сначала он будет важно сопеть и гладить её круглые колени, потом положит свою грязную руку на её грудь, а после, прежде чем вскочить в свой пригородный автобус, попытается измазать её слюнями, в которых наверняка живёт какая-нибудь гадость.

К тому же она сама не была в кино очень давно. И ничего. В конце концов, она могла бы составить дочери компанию...

Ярость была огромная, страшная, накрывающая с головой мутной волной, захлестывающая лодку через борт и мотающая её из стороны в сторону, заваливая то на один бок, то на другой, грозя перевернуть...

Теперь Лидия Андреевна уже и не помнит, какими словами она обзывала дочь и что ей кричала, только Василиса всё равно нарочито хлопнула дверью, будто проводница задраила вход в вагон, уносящий дочь в неизвестном направлении...

Потом Лидия Андреевна разглядывала пять сизых синяков с лиловым отливом на предплечье дочери, напоминающих отпечатки пальцев на тетрадке первоклассника... Сначала она даже хотела ужаснуться, решив, что это сделал Илья, но потом поняла, что он ни при чём... Она даже вспомнила это ощущение нежной

юношеской кожи, сжимаемой побелевшими от напряжения пальцами, пытающимися её отжать, как бельё. Ей страшно захотелось отогнать от себя эту всплывшую рыбину-картину, стукнуть старым веслом по вынырнувшей голове... Впрочем, это было уже не в первый раз и вполне привычно. Грозу ведь не вспоминают, а дышат посвежевшим озоновым воздухом, радуясь умытой листве и воспрянувшей, потянувшейся к небу траве...

Часов в одиннадцать дочь вернулась, мышью скользнула в свою комнату, долго там шуршала и не выходила в ванную. Лидия Андреевна слышала, как та наконец из неё выскользнула, но ярость уже ушла, и она просто не желала с дочерью разговаривать... Да и Андрей раздражённо подал голос:

— Оставь её в покое и не затевай на ночь глядя скандал. Завтра рано вставать. Бессонная ночь никому не нужна.

Но ночь всё равно была почти без сна. Лидия Андреевна лежала в кровати, слушала храп Андрея, еле сдерживаясь, чтобы не потрясти его за плечо, смотрела на пробегающие полосы света на потолке от припозднившихся машин и думала о том, что жизнь перешла перевал... Сначала она упорно поднималась всё выше и выше, открывая для себя новые горные пейзажи, захватывающие дух своей непознанностью, а потом докарабкалась до маленькой скалистой площадки на вершине, на которой долго оставаться было невозможно, а можно только посмотреть окрест и осторожно начинать спуск. Как она хотела, чтобы Вася была счастлива... Но можно ли найти в нашей жизни счастье в замужестве? Была ли она сама когда-нибудь счастлива так, что прорезаются крылья и хочется лететь навстречу любимым и близким со сбивающимся дыханием, не обращая внимания на рассыпанные ветром волосы, часть из которых просто приклеивается, намкнув, ко лбу? Пожалуй, была... Она помнит то своё состояние неподдельного удивления, что она нравится Андрюше. Даже то, как галантно он пропускал её вперёд или подавал ей пальто, было для неё роскошным подарком. Она неловко подпрыгивала, пытаясь попасть в рукава пальто, которое Андрей уверенно держал в своих изнеженных руках с музыкальными пальцами, так похожих на женские.

Но она отчётливо помнит то своё ожидание чуда, когда ей казалось, что скоро она станет самым счастливым человеком на свете. Она ждала его звонков, ходила сама не своя, если их не было, и радостно бежала к телефону в предвкушении блаженной встречи. И когда однажды Андриуша поднял её на руки, чтобы перенести через заградительный барьерчик, отделяющий тротуар от проезжей части, когда они перебежали шоссе в неполюженном месте, это всколыхнуло все её дремавшие до поры молодые чувства. Она влюбилась! Придя в общагу, она зажмурилась и нежно погладила себя под коленками, пытаясь понять, что ощущал Андрей. Потом она кружилась по комнате в вальсе, перемежающемся с диким папуасским танцем, благо соседки ещё не было, разглядывала свои скудные наряды и себя в зеркале. Она решительно себе не понравилась, но раз нравится Андрею — значит, всё не так уж плохо.

Именно это ожидание чуда и делало её счастливой. Кипенный яблоневый и вишнёвый нежный бело-розовый цвет, которому суждено вскоре опасть, просыпаться на землю обрывками писем и клочками от изодранной рукописи жизни, у которой не бывает черновиков... И неизвестно, не был ли он пустоцветом... Завяжутся ли маленькие зелёные плодики, а если завяжутся, то не опадут ли до срока под секущим розгами проливным дождём или от жаркого ветра, иссушающего дыханием пожара? Больше так счастлива она уже не была никогда. Тяжёлый характер свекрови, вечно болеющие дети и постоянно хандрящий и раздражённый муж, бегущий из дома в работу (к счастью, не к женщине, в пьянство, к друзьям), парализованный тесть, слава богу, недолго... Но её жизнь сложилась внешне вполне благополучно. Она ни о чём не жалеет. Её жизнь была колея... А она сама исправно работающая деталь в отлаженном механизме...

Утром Лидия Андреевна ушла на работу, хотя была суббота. В понедельник надо было срочно сдавать серию и отправлять заказ, они не успевали. Андрей встал вместе с ней, они наспех позавтракали, и он ушёл в гараж готовить машину к скорому техосмотру. Дети остались спать. О вчерашнем скандале не говорили, хотя он занозой сидел в памяти. Трогать занозу не хотелось, так как было больно и неприятно. Андрей всю

жизнь пытался обходить стороной не только острые углы, но и не замечать синяки от них, даже если они были жёлто-лиловые с черничным отливом. Этому его научил инстинкт самосохранения жизни с деспотичной матерью. Лидии же было немного стыдно за свою необузданную ярость, которая была, конечно, вполне объяснима и заслуженна.

## 17

Лидия Андреевна вернулась с работы рано. Дверь в комнату Василисы была закрыта, но пальто висело в прихожей. Спит, что ли? Сначала Лидия Андреевна хотела заглянуть к дочери, но потом решила: «Пусть спит. Не буду будить». Да и не хотелось возвращать вчерашнее. Стычки между ними были обычны и привычны, но после шквала наступало кратковременное затишье. Разговаривали друг с другом мягкими и осторожными голосами, боясь оступиться и попасть мимо шаткой кочки... Через пару часов пришёл Андрей. Сели обедать. Лидия снова хотела зайти к Васе, но Андрей остановил: «Пусть спит». Прошло ещё два часа, как Лидия Андреевна почувствовала беспокойство: уж очень в Васиной комнате было тихо. Она крадучись подошла к двери, прислушалась и осторожно приоткрыла её. Василиса спала. Она была бледна, но дышала ровно и спокойно.

— Ты что? Кошмар! Нагулялась! Нельзя же целые сутки дрыхнуть! Вставай и давай иди ешь!

Ответа не последовало. Василиса как будто не слышала. Чёртова девка делает вид, что спит.

— Вставай! Ты меня слышишь!

Никакой реакции... Лидия Андреевна подошла ближе и стянула с дочери одеяло. Та даже не пошевелилась. У Лидии Андреевны тоскливо защемило сердце в нехорошем предчувствии. Она всматривалась в лицо дочери, словно в спокойное глубокое озеро в безветренную погоду, чувствуя, что стоит на насыпном песке, который в любую минуту может под тобой провалиться и засосать в глубокую воронку. Она сильно потрясла дочь за плечо, будто ветку с яблоками, которые другим способом не достать, та поморщилась, словно озёрная гладь от брошенного камушка, но глаз не открыла. Сердце сорвавшимся



камнем ухнуло в пропасть. Лидия Андреевна пошла за Андреем. Андрей, кряхтя, проследовал за Лидией Андреевной в спальню Василисы, осторожно, словно боялся спугнуть куропатку в зарослях, потрогал дочь за плечо, будто отводил куст, выросший на пути; погладил по лбу, ладонью перетекая на макушку, и покачал головой... Вызвали скорую. Пока ехала скорая, нашли в письменном столе пустой пузырёк со стёршейся этикеткой из-под старого транквилизатора, употреблявшегося ещё свекровью.

В ожидании скорой Лидия Андреевна ходила по гостинной взад-вперёд, будто работающий экскаватор. Время не остановилось. Оно шло и шло шагом человека, опаздывающего на работу.

Наконец Лидия Андреевна услышала топот ног, поднимающийся на их лестничную площадку, ровно всадники скачут с дурной вестью.

Скорая никуда Василису не повезла. Врач, пожилая женщина в изящных золотистых очках и со строгим пучком учительницы из гимназии прошлого века, сказала, что промывание желудка делать поздно. Лекарство уже всосалось...

— Ждите, когда дочь проснётся. Потом пойте как можно больше. Сделайте клюквенный морс. А пока пусть спит. Ваше счастье, что таблетки были старые. Ох уж эти молодые! Любовь, чай поди, несчастная... Где же им о родителях подумать!

Дочь почти не дышала. Серела на смятой подушке гипсовым лицом, похожим, наверное, на то, что бывает, когда делают маску с покойника на память... Синие губы, будто чернику ела, приоткрылись, обнажая бескровную пещеру рта в мелких сталактитах зубов... Она подумала, что у дочери был вечно насморк. Лидия Андреевна через каждые полчаса приходила в её комнату, до головных спазмов всматривалась в любимое лицо, сливающееся с белым одеялом, в которое та была закутана, будто в снежный саван, пытаясь уловить заметное лишь материнским внутренним зрением колебание жизни. Но даже ей всё время казалось, что Вася уже там...

На третьей сутки Лидия Андреевна наконец сама провалилась в спасительный сон, навалившийся на неё, будто тяжёлое тёплое тело... Сон был цветной. Будто бы плыла она с аквалангом по диковинным коралловым рифам, очень боясь заглядеться на них, пораниться —

и не всплыть... То тут, то там за красными кровавыми камнями проглядывали, будто недобрые предчувствия, тени огромных рыб или шустрой стайкой выплывали серые малявки, напоминающие родных аквариумных гуппи, — её спутанные мелкие мыслишки о конечности всего... Вода нежно обнимала её, словно руки любимого, мутный солнечный свет слабо пробивался сквозь толщу вод, окрашивая жизнь в изумрудные тона, как в любимой Василиной сказке про волшебника Изумрудного города. Тревога нарастала, ей казалось, что это расслабленное её состояние вот-вот оборвётся... Но свет откуда-то сверху упорно продолжал литься и играл на пузырьках воздуха, всплывающих на поверхность над её головой, будто на осколках разлетевшегося стекла...

Вдруг Лидии Андреевне почудился родной голос, глухо доносившийся откуда-то с поверхности... Голос был упорный, он не затихал — исчезнув на минуту, возникал с удвоенной силой, словно дверной звонок, который трезвонил всё громче и громче, если его не желали слышать. Лидия Андреевна резко трянула головой, отгоняя от себя этот звонок, будто ночную бабочку, бьющуюся о её лицо, и выплыла из небытия:

— Варежки, варежки! Дай мне варежки, — капризно требовал голос.

Резко встав с постели, так, что комната медленно завертелась в танце на палубе судна, брошенного в открытое штормящее море, Лидия Андреевна прошла в комнату дочери. Василиса лежала мраморная с закрытыми глазами, подняв над головой руки, и делала вращательные движения кистями рук.

— Надень мне варежки! Варежки! Варежки! Варежки!

— Какие варежки? Дома же тепло! Давай я тебе руки укутаю одеялом.

— Варежки, варежки, надень мне варежки!

Лидия Андреевна открыла шифоньер, отыскала на полке варежки из овечьей шерсти и осторожно натянула их на танцующие руки. Дочь, не открывая глаза, удовлетворённо улыбнулась, кивнула и спрятала руки под ватное одеяло.

Василиса спала ещё трое суток. Лидия Андреевна, как маятник, моталась по квартире, почти через каждый час заходила в комнату дочери и подолгу стояла на пороге, всматрива-

яся в родное лицо... Ей всё время казалось, что сугроб одеяла больше не вздымается, а лежит ровным завьюженным полотном... Лидия Андреевна слышала, что Андрей тоже не спал, ворочался на кровати, что жалобно скрипела пружинами, будто несмазанная телега, потом вскакивал, лёгкой, осторожной походкой барса прокрадывался в комнату Васи и долго там стоял, замерев. А утром, на ходу затолкав в себя бутерброд, с мешками под покрасневшими, будто от едкого, ядовитого дыма, глазами уходил до вечера какой-то шаркающей походкой запыхавшегося старика, что не поспевает к скоро отбывающей электричке.

Через трое суток дочь открыла осмысленные глаза, услышав скрип половиц. Медленно обвела взглядом все трещинки на их осыпающемся потолке, потянулась, брезгливо вытащила из-под себя пропахшие мочой тряпки, сунула ноги в тапочки и медленно пошла по стеночке по направлению к ванной...

О произошедшем не разговаривали. Вася была вялая, с серым лицом цвета позеленевшей картофелины, целыми днями валялась на постели, иногда читала, чаще просто спала, изредка включала телевизор и апатично смотрела на цветной экран без тени эмоций на лице. Участковая продлила ей больничный, и можно было потихоньку приходить в себя.

Когда Лидия Андреевна звала её обедать, Василиса нехотя вставала, равнодушно с попусторонним лицом ела, потом шла на кухню, мыла свою тарелку, чистила зубы и уходила в свою комнату.

Илья не звонил, и Лидия Андреевна про себя радовалась, что всё кончилось хорошо, бог отвёл рукой от неё беду, послав ей предостережение, что дочь выросла, отдалилась от неё и имеет свою жизнь, впускать в которую Лидию Андреевну никак не собирается, даже если та ломится с громкими стуками ногой в дверь.

В субботу Василису начало тошнить. Лидия Андреевна подумала, уж не беременна ли та... Но дочь на её вопрос резко ответила:

— Нет, — хлопнула дверью и закрылась.

Тошнота не проходила. Вася лежала серая, будто штукатурка на их запылённом потолке, закрыв воспалённые от слёз глаза... Лидия Андреевна даже посмотрела на потолок, так

как ей показалось, что с него осыпался мел, припудрив Васин лоб и крылья носа. Голова её совсем сползла с подушки, искусанный рот был приоткрыт. Через каждые полчаса-час Вася вскакивала и, пошатываясь, бежала в туалет, возвращалась оттуда с мокрым от пота лицом, серые волосы были будто только что вымыты и приклеились слипшимися прядями ко лбу. Дочь осторожно, стараясь не шевелить голову, ложилась — и через полчаса снова вскакивала...

Лидия Андреевна была уже совсем уверена, что дочь «залетела», а значит, надо теперь срочно попытаться уговорить её пойти на аборт. Но как это сделать после всего происшедшего?

Лидия Андреевна снова вызвала скорую. Приехавшие на сей раз довольно быстро врачи сказали, что действительно похоже на беременность... Теперь понятно, почему Вася выкинула этот фортель. Но ребёнок? В наше-то время, когда нет никакой возможности его прокормить и вырастить? Да и без отца... Может, его и можно заставить жениться, но зачем им этот вечно ноющий доходяга, которого ещё придётся им содержать. Нет, только аборт!

Лидия Андреевна, пугаясь своего неуместного раздражения — всплывшего, будто утопленник, который внезапно потерял свой тяжёлый якорь: верёвка, что его удерживала, увлекаясь пробегающим течением, соскочила с гладкого, обтёсанного водой камня, — стремительно зашла к дочери, твёрдо намереваясь выложить свою позицию по сложившейся ситуации.

— Надеюсь, ты понимаешь, что рожать в наше время — это безумие! Дошталась! Говорила тебе, но ты же не слушаешь! Как теперь это всё расхлёбывать! Дура! Дура набитая!

Дочь осторожно повернула голову на подушке и неразлепляющимися губами выговорила:

— Я знаю, что я у тебя дура. У тебя все дураки, одна ты умная. Поназаводила себе игрушек, чтобы помыкать... Захотела — «пну», захотела — «поглажу»... — потом сморщилась, как изжёванный исписанный лист бумаги, сжимая губы до посинения, еле удерживая подступавшее изнутри...

## 18

Тошнота не проходила. Видимо, у дочери был сильный токсикоз. О каком ребёнке в наше время может идти речь! Они еле сводят концы с концами! Этот недоношенный, играющий на губной гармошке, — отец? Не способный заработать даже себе на сносный джемпер и приличную шапку! Ходит в свалывшейся искусственной ушанке, закрыв отитные уши, расчесал бы хоть её, что ли! И шуба такая же вся вытертая, будто у бомжа. Зато сосиски жрёт килограммами. Они вот не едят, дорого, а этот в Москву за ними каждый месяц катается в плацкартном вагоне. Она несколько раз пыталась выяснить у дочери, где же он работает, но так толком и не поняла: он числился то наладчиком домофонов, то рыл какие-то траншеи и прокладывал кабель, то собирался заниматься установкой железных дверей, то подражался работать охранником. Да, время сейчас, конечно, то ещё, но нельзя же каждый месяц работу менять!

Лидия Андреевна всё же заставила дочь встать и немного поесть. Василиса нетвёрдой походкой прошла на кухню, села за стол, лениво похлебала куриный бульон и съела две ложки картофельного пюре. Через десять минут её вырвало. После чего она снова, будто слепая, пошатываясь, быстро прошла в комнату и, не раздеваясь, легла.

Прошло ещё три дня. Три дня Лидия Андреевна пыталась заставить Василису что-то проглотить. Та осторожно мотала головой и отворачивалась. Раз в день Лидии Андреевне удавалось что-то в неё впихнуть, но дочь выворачивало снова.

Лидия Андреевна снова набрала «03»... Снова очень долго ждали, когда прибудет карета. На сей раз приехала врачиха, одетая почему-то в сине-красный лыжный костюм. Халата на ней не было. Бегло осмотрела Василису и сказала, чтобы вызывали участкового терапевта. Это не по их части. Или лучше бы шли сами в женскую консультацию.

Впереди было два выходных.

Выходные прошли обычно. Лидия Андреевна стирала, гладила, готовила харчи на неделю на всю семью, убиралась (правда, заставила Гришу пылесосить пол). За заботами нависшая над домом тревога, от которой сердце сжималось в ко-

мок мёрзлого грунта, готового полететь вслед за только что опущенным в землю близким, проваливалась в рваный полуденный сон.

В понедельник вызвали снова участковую, уже открывшую больничный неделю назад. Участковая у них была дура, которой давно было пора сидеть дома и следить за великовозрастными внуками, но успокаивало то, что она была «трясучка» и перестраховщица. Участковая пообещала прислать завтра медсестру, чтобы сделать анализ крови, и велела Лидии Андреевне принести в поликлинику мочу больной на анализ, а на следующие сутки снова её вызвать «на дом».

Василису по-прежнему сильно тошнило. Она лежала вся зелёно-серая, будто побег, помещённый в сырой подвал. Склеившиеся от пота и свалывшиеся грязной паклей волосы прилепились к горячему лбу.

Участковая заявила через двое суток испуганная и растерянная, сказала, что да, тест на беременность положительный, у дочери повышенный РОЭ, то есть налицо воспалительный процесс, кроме того, в моче присутствует белок и повышенный уровень мочевины, что говорит о почечной недостаточности, но это ничего страшного, это у беременных бывает. Прописала антибиотик и велела пить мочегонное, фуросемид. Посоветовала, что если они хотят родить здорового ребёнка, то лучше бы отправить девочку в стационар. Она не гинеколог, конечно, надо бы её свозить в консультацию, но она может дать направление в больницу по поводу угрозы выкидыша или даже по подозрению на внематочную. С таким диагнозом девочку скорая должна забрать, а иначе просто в больницу не попадёшь. Даже, если они хотят, она может вызвать перевозку прямо сейчас.

Лидия Андреевна принялась звонить Андрею. На этот раз муж проявил несвойственную ему решительность и сказал:

— Вызывай! Я сейчас приеду.

Василиса громко закричала из комнаты, откуда только силы взялись: «Не поеду! Я никуда не поеду!» Участковая пожалала плечами и изрекла, что против желания пациента его госпитализировать нельзя. Лидия Андреевна почувствовала опять отчаяние человека, под ногами которого трещит лёд: и возвратиться назад нельзя, и вперёд уже невозможно, а оста-

ваться посередине грозящей тронуться реки — вообще безумие.

— Набирайте «03», я вам говорю, набирайте, что вы слушаете человека, который не в себе, если что случится, я на вас в суд подам, вам давно на заслуженный отдых пора. Это же надо ребёнка безумного слушать!

Врач суетливо стала накручивать диск их старенького разбитого телефонного аппарата, заботливо склеенного и перевязанного лейкопластырем, этого ветерана семейного фронта. Дочь больше голоса не подавала.

Через полтора часа приехали фельдшер и медбрат. Пока дожидались скорую, Лидия Андреевна успела узнать, что, оказывается, зачастую на вызовы приезжает именно фельдшер, а не врач. А когда вызывают «перевозку», то всегда приезжает фельдшер. На сей раз оба были мужчины, и оба были в халатах. Только медбрат был почему-то в синем застиранном халате, в каком у них на работе ходят уборщицы и слесари-водопроводчики, чинящие вечно текущий унитаз.

Покуда ждали «перевозку», Лидия Андреевна успела наспех покинуть в сумку дочки вещи для больницы, и пришёл Андрей.

— Ну всё, Васечка, давай подниматься.

Дочь не двинулась.

— Я же сказала, что не поеду, неужели непонятно?

— Ты соображаешь, что говоришь? Я поняла уже, что ты сдохнуть хочешь и нас закопать! Не слушайте её! Сейчас будем поднимать!

Фельдшер пожал плечами и спросил, где у них туалет:

— У меня расстройство с утра. Грибочков маринованных, наверное, пережрал.

Лидия Андреевна с тоскливым предчувствием под доносившиеся из уборной канонаду, звуки выстрелов газового пистолета и бурный водопад спускаемой воды пыталась посадить дочь на постели. Та вцепилась в деревянный каркас кровати, грозя его развалить на составляющие, всем своим лёгким телом упираясь изо всех сил.

— Я же сказала, не поеду! Отстань!

— Хоть бригаду санитаров вызывай, — растерянно оглянулась Лидия Андреевна на Андрея.

Вышел фельдшер:

— Извините нас, мамаша. Существует положение о добровольной госпитализации паци-

ента. Ваша дочь совершеннолетняя. Мы не имеем права её везти против воли. Если бы она была без сознания, тогда да... А так... Нет. Попробуйте её уговорить — и тогда вызывайте. А сейчас нам ехать надо.

## 19

Дочь удовлетворённо улыбнулась, лицо её даже немного порозовело, будто неспешное яблоко, продырявленное червяком.

Лидия Андреевна позвала дочь обедать. Та спокойно встала и медленно прошла на кухню. Села за их круглый стол. Черпала куриный бульон, шкрябая по дну тарелки ложкой, словно вычерпывая воду после проливных и затяжных дождей из лодки. Минут через сорок Лидия Андреевна услышала, как дочь зашла в туалет в кашле, сопроводившем опять открывшуюся рвоту.

Через два дня Лидия Андреевна пригласила домой, предварительно обзвонив всех подруг и знакомых, платного гинеколога из вновь открывшейся клиники «Мать и дитя». Гинеколог ничего нового не сказала, заключила, что у Васи сильный токсикоз, и отвалила.

Ещё через пару дней Лидия Андреевна заметила, что у дочери покраснели кисти рук. Она стала звонить опять своей лучшей подруге, что была терапевтом. Подошёл её муж, сказал, что у жены давление и разговаривать она не будет. Голос у мужа был весёлый и немного пьяный. Она стала звонить другой подруге, но та гуляла с собакой. Домашние велели ей перезвонить через полчаса. Но и через полчаса, и через час, и через два, и даже около полуночи к телефону больше никто не подошёл. «Отключили, что ли?» — сообразила Лидия Андреевна.

На следующий день вызвали платного специалиста из новой клиники «Семейный доктор». Тошнота тоже прошла. Ничего страшного молоденькая врачиха в белоснежном синтетическом импортном халате с розовым воротничком и таким же розовым пояском, перетягивающим её осиную талию, не обнаружила. Она вообще не поняла, что с девочкой, и услужливо предложила за деньги написать диагноз «подозрение на внематочную беременность», иначе в больницу не увезут, и вызвать скорую. Они с Андре-

ем согласились. Они были готовы отправить дочь хоть сейчас, но Василиса демонстративно отвернулась к стене. Лидия Андреевна растерянно посмотрела на мужа. Тот сказал:

— Ладно, успокойся. Сегодня уже поздно. Завтра решим. Утро вечера мудренее.

Ночь спали плохо. Лидия Андреевна всё время прислушивалась к тому, что происходит за стеной, но тревожить дочь не решалась.

Часов в пять утра Лидия Андреевна сквозь рваный сон услышала Васин голос:

— Мама! Пить!

Лидия Андреевна, даже не накинув халата, рванулась к дочери. Вася смотрела на неё совершенно спокойными и осмысленными глазами:

— Дай мне, пожалуйста, попить.

Лидия Андреевна налила в кружку воды и, взяв в другую руку графин с водой, пошла к дочери.

Вася залпом выпила воду.

— Ещё налить?

Дочь кивнула.

Лидия Андреевна налила ещё. Вася жадно схватила кружку, повертела её в руках — и вылила на неожиданно разругавшееся лицо. Лидия Андреевна оторопела.

— Андрей!

Шаркая шлёпанцами, будто древний старик, муж пришёл в спальню дочери, в трусах и майке, покачал головой, подошёл к Васе, нежно потрогал лоб дочери:

— Горячий! У неё жар, наверное. Она так себя остужает. Налить ещё, Васечка?

Дочь снова кивнула, но не всей головой, а только воспалёнными глазами, согласно прикрыв веки. Потом медленно взяла кружку в руки, приподняла голову на подушке и стала пить, глотая, будто затягивалась сигаретой. Потом отстранила кружку от обмётанных, точно белой рисовой «размазнёй», губ — и снова опрокинула её себе на лоб.

Андрей ласково стал гладить спутанные Васины волосы, ставшие похожими на щётку для мытья посуды:

— Дочка, тебе надо в больницу. Слышишь меня?

Вася опять покачала головой.

Лидия Андреевна почувствовала, что ноги вдруг сделались ватными: они совершенно перестали её держать, и она медленно поехала на

пол. Резко опершись растопыренной ладонью о стену, она пошла по стеночке в гостиную и плавно ватным кулем съехала на кресло.

— Андрей!

Вышел муж.

— Что делать-то? Надо увозить! Неужели ты не видишь, что что-то не то, стало хуже! Мы же сами с тобой ничего не сможем сделать. Если она не согласится ехать, её не увезут. Как её уговорить?

Андрей растерянно стоял над Лидией Андреевной, потемневший взгляд выдавал испуг, ссутулившись, будто переносил на руках неподъёмный груз, пошёл к дочери. Лидия Андреевна слышала, как он придвинул стул к её кровати и, видимо, просто сидел рядом и гладил её. Потом она слышала, что Андрей что-то стал говорить дочке голосом с давно забытой ей интонацией, которая частенько звучала в их доме, когда дети были маленькие. Голос то замолкал надолго, то снова что-то такое ворковал ласково-увещательное, похожее на первые лучи апрельского солнца, трогающие лоб и волосы, вырвавшиеся из-под сдёрнутой шапки, что мяла теперь рука... Лидия Андреевна по-прежнему сидела, будто парализованная, в кресле. В груди было пусто, ей казалось, что сердце вынули и положили где-то отдельно от неё, оставив, конечно, два силиконовых шланга, усердно перекачивающих кровь, но шланги были длинные-предлинные, уходили куда-то совсем вне зоны её досягаемости, почти в другую комнату, где и билось, по-видимому, её сердце, издавая робкий стук, похожий на азбуку Морзе... Но этого стука она совсем не слышала, хотя и догадывалась, что сердце ещё стучит, хоть и с неровными переборами. Зато она слышала ласковый голос мужа, отнесённый ветром куда-то далеко за скалу: слов за ревушим морем было не разобрать, но она отчётливо различала заунывный фагот его баритона, вплетающийся в плеск прибора. Лидия Андреевна с тревогой смотрела в серую даль, наглухо задёрнутую облаками, темнеющими, будто глаза ребёнка, из которых вот-вот брызнут слёзы.

Через два с половиной часа Андрей вышел из комнаты дочери, сказав:

— Помоги ей собраться, и будем звонить.

Лидия Андреевна облегло вздохнула и пошла помогать дочери одеться. Вася захотела

помыть голову и принять душ, но сил сделать это у неё уже не было. Голову мыли в комнате над тазом. Андрей принёс воду, Лидия Андреевна стояла с заготовленным кувшином воды и смотрела, как дочь намывает голову розовым перламутровым шампунем, нежно пахнущим белыми водяными лилиями, которые они когда-то в юности срывали с Андрюшей на даче, плавая на самодельной фанерной лодчонке в зарослях, где река делает крутой извив. Мыльные пузыри переливались весёлой радугой, безмятежно лопааясь под широкой плоской струёй, вытекающей из горла кувшина...

## 20

Приехали в приёмный покой хирургического отделения. Андрею и Лидии пришлось самим возить девочку на каталке по этажам и лифтам, чтобы сделать обследование. Пришёл чернявый врач средних лет, лицо приятное, интеллигентное.

— У девочки нет ничего, требующего хирургического вмешательства. Это не наш пациент. К тому же у вас прописка в другом районе.

— Неужели вы не видите, насколько ей плохо?

— Вызывайте в понедельник врача или идите в консультацию вашего района, пусть там дадут направление в больницу вашего района в терапевтическое или там в какое-нибудь гинекологическое отделение.

— Но завтра выходной!

— Я ничем не могу вам помочь.

Через сорок минут пришёл Безбородов:

— У вас белок в моче и мочевина повышена. Благодарите Наталью Сергеевну, она у нас специалист по почкам и сегодня дежурит. Но вам всё равно надо в другой район.

Через пять минут пришла маленькая светлая немолодая женщина, похожая на верткую мышку.

— Возьмите девочку к себе, пожалуйста. Мы имеем возможность заплатить, — сказал Андрей.

— Ну, у нас тут только приёмный покой, тут ведь ничего не решают, до понедельника она будет в приёмном покое в терапевтическом отделении.

Андрей повёз Василису в приёмный покой терапевтического отделения. Часа три ещё он тягал каталку с Василисой по этажам на всякие обследования, то перекладывал её на кровать, то снова поднимал на каталку. Наконец всё закончилось. Лидия Андреевна осталась с дочерью ночевать. Девочке поставили катетер и капельницу. Моча капала еле-еле и была похожа на крепко заваренный чай, простоявший трое суток...

Через двое суток Василису перевели в палату, точнее в комнату для постирушки пелёнок. Напротив лежала пожилая женщина, которую Лидия Андреевна уже видела в приёмном покое. Женщина, как сказали ей родственники, умирала от рака горла. Она задыхалась и не могла говорить. Ждали, когда опухоль перекроет горло. Женщина дышала тяжело, с хрипом и присвистом, словно раздувались огромные меха гармони...

Опять стали делать какие-то обследования, уколы и капельницы. Принесли коробочку с таблетками, которые Вася принимать наотрез отказалась, сказав, что её тошнит.

...Серое лицо цвета сырой картофелины, что синееет на срезе к началу весны. Запавшие провалившиеся скулы; рот приоткрыт; губы обмётаны слизью, похожей на высохший творог; глаза блуждают по комнате из одного угла потолка в другой, из угла потолка — ещё куда-то, куда ей ход пока неведом... Взгляд мечется, будто мышь по круглому столу, застигнутая над растерзанной пачкой печенья внезапно пришедшей хозяйкой...

Илья почти неотступно сидел у кровати больной, когда Лидия Андреевна и Андрей уходили. Это им сказала санитарка. Но как только появлялась Лидия Андреевна, он мгновенно испарялся. Просто тихо выходил из палаты и исчезал. Как Лидия Андреевна его ненавидела! Разговаривали они сквозь зубы. Когда она впервые его увидела здесь, в ней поднялось такое бешенство, что она заорала на всю палату:

— Что вы делаете здесь? Вы убили мою дочь! Убирайтесь отсюда!

Он усмехнулся и отпарировал:

— Нет. Это вы убили.

Она потребовала мужа вывести Илью немедленно из палаты. Василиса дёрнулась, как-то

вся съёжилась, будто сдулась, как резиновая кукла. Потемневшие глаза медленно начали наполняться слезами, будто капли какие под веки закапывали, а затем слёзы прозрачными неправильными горошинами покатались на подушку... Василиса захлёбывалась ими, потом закашлялась, точно от сигаретного дыма. Кашель сотрясал всё её худенькое тельце, словно её в поезде подбрасывало, мотаемом из стороны в сторону на стыках аварийных рельсов, с которых того и гляди сорвёшься под уходящий вниз откос, ведущий к холодной, только что вскрывшейся ото льда реке...

## 21

Серое, родное, любимое лицо с потусторонними глазами, затуманенными одной ей ведомыми видениями, блуждающий по облупляющемуся потолку взгляд. Уже не здесь. Когда же возвращение? Скулы заострились; щёки втянулись, точно бок у проколотого мячика; растрескавшиеся кровоточащие губы; рот широко открыт и ощерен. Только огромные клыки торчат по бокам. Дыхание с присвистом, будто чайник закипает...

— Тебе лучше?

— Да, — слабый кивок.

— Палата хорошая, светлая...

Опять еле заметный кивок.

Цветы на окне в этом изоляторе. Кактус, ощерившийся всеми своими колючками... Декабрист вдруг багрово зацвёл по весне... Красуется на ледяном поле белой кафельной плитки... Окно огромное, как витрина... За окном море...

— Выбрось меня в море!

— Где это она увидела море? — спросила Лидия Андреевна мужа...

— Васечка, где ты видишь море?

— Как где? Вот там! — слабый кивок за окно... —

Выбрось меня в море, мне больно.

Слёзы наворачиваются, бегут по щекам, будто это и не слёзы вовсе, а солёные морские брызги, горло перехватывает спазм, хочется проснуться от всего этого неотвратимо надвигающегося состава, грозящего раздавить. Не убежать, не выбраться. Словно в узком туннеле, а поезд всё приближается, грохочет, лязга-

ет колёсами несмазанными и буферами. Ни отскочить, ни к стенке прижаться. Не пронесётся мимо. Зацепит. Раздавит...

— Ты мой кисик, любимый, самый любимый, ты моя зайка!

Почему в жизни мы так мало произносим этих слов? Шершавые старческие обезвоженные руки, кожа с которых сползает, как береста с берёзы, а под ней — новая кожа, розовая, не большая совсем. Помазать эти руки растительным маслом... Гладишь, гладишь, еле сдерживая слёзы, пытаешься удержать мгновения и не веря, что удержишь. Не судьба. Поезд приближается, лязгает и грохочет...

— Нет, это тебе, — слабые руки пытаются наклонить пузырёк с маслом и глядят твои руки, льют масло растительное тебе на ладони, ласкают твои кисти...

— Это тебе... — последнее, что могут ещё дать.

Потом притягивают тебя за шею — и вот ты уже качаешься на родной груди, задыхаясь от слёз... Качаешься, словно на волнах, будто плывёшь... Теперь мы плывём вместе. Впереди бескрайнее море, бесконечное в своей конечности. И безвозвратности... Руки гладят тебя по волосам.

— Тебе больно? Я тебя ударила? Я тебя люблю. Забери меня отсюда. Я тебе никогда не прощу, что ты привезла меня сюда. Ты убила меня... — детские холодные ладошки на шее, голова Лидии Андреевны притянута на грудь, пальцы морскими звёздами запутались в её волосах, как в водорослях, и гладят, перебирают не чёсанные с вечера лохмы.

— Да тебя бы уже дома не было.

— Ну и что? Выкинь меня в море.

Пришла санитарка, злобно посмотрела на Лидию Андреевну и прогавкала:

— Что сидишь, мамаша? Ты сюда ухаживать пришла или сидеть? Вылей-ка мочу! Нам ваши родственники не нужны.

## 22

Когда она пришла на другой день, то увидела на кровати, где лежала женщина с онкологией, Василису. Кровать была высокая и удобная, по краям неё были подняты бортики из ме-

таллической трубки, напоминающие те, что в новых импортных купейных вагонах приделаны к верхним полкам. Руки дочери были привязаны к кровати рваными серыми тряпками от простынок. Лидия Андреевна собралась было немедленно устроить скандал, но потом поняла, что Василиса, видимо, хотела встать или шевелила рукой и врачи боялись, что она нарушит тонкую струйку раствора, капающего в вену. Одна рука была фиолетово-багровой, надувшейся... Капал по росинке физраствор... Голубые вены, точно весенние ручейки талой воды, сбегаящие с пригорка от припекающего солнышка; огромный чёрный синяк, будто чернильное пятно на руке неряхи-первоклашки... Какие-то очень осмысленные взрослые фразы, и снова — провал в небытие, туда, где синее море с пенными барашками слёз на гребне... Тихий плеск прибоя и юное тело, которое так легко входило в эту воду, совсем не пугаясь неровных камешков под ногами...

Лидия Андреевна испугалась, что врачи перетянули руку так, что вырубил кровообращение. Она тут же ослабила измочаленный жгут на правой руке и отвязала левую. Пошла к медсестре. Вернувшись, увидела, что капельница в одно мгновение оказалась выдержана освобождённой левой рукой.

— Ты мой кисик, ты мой зайчик, любимый! Самый-самый любимый!

Содержание мочевины и креатина нарастало день ото дня... Почему, Лидия Андреевна понять не могла. Что они там ей вкололи? Сказали, что через три дня надо будет поехать на консультацию к нефрологу, взяв карту.

Через три дня дали в руки историю болезни и велели ехать в другой район в поликлинику при больнице, специализирующейся на болезнях почек. Поехала. Пришла в поликлинику. Там говорят:

— Мы вас без талона не примем.

— Какой талон? Я из 1-й градской, врач звонила вашему, вот время написали: 12-20.

— Никто вас без талона не пустит. Приходите утром и берите талон. Сходите к 39-му кабинету и посмотрите, какая там очередь.

— Да вы что, смеётесь? Завтра суббота. У меня дочь умирает! Ну неужели нельзя просто анализы посмотреть? — заорала Лидия Андреевна срывающимся на плач голосом.

Врач вышла в коридор из кабинета, нехотя взяла из рук Лидии Андреевны карточку, открыла и тут же сказала:

— А такие анализы ерунда. Это не по нашей части. Пусть у себя ищут. Почки — это вторичное, — отдала карту Лидии Андреевне и, пригласив очередного пациента, захлопнула дверь.

Жизнь катилась как снежный ком... Ком всё рос и рос, катился к краю, увлекая за собой новые снежные и ледяные глыбы, грозя обрушиться и погresti под собой их старенькую, застиранную и выцветшую, но всегда чистую и отутюженную жизнь.

Капал по тоненькому шлангу в синий весенний ручеек часами раствор... Капал и капал... Лидия Андреевна очень боялась, что раствор внезапно закончится и разгильдяйки-сёстры пропустят этот момент. Глотать пищу Вася категорически отказывалась, слабо качая головой, почти одними серыми, словно набухшие дождевые облака, глазами; осторожно, точно боялась повредить или разбить, поворачивала голову: видимо, её на самом деле тошнило и она просто боялась мотать головой сильнее.

Девочку наконец решили кормить через зонд. Лидию Андреевну вытолкали из палаты. Она сидела в коридоре, слушая душераздирающие крики дочери, в то время как специалист из реанимации ставил ей зонд, зная, что другого выхода нет, что кормить, наверное, надо, а иначе вся пища просто срыгивалась, и это был единственный способ кормления. Ей было велено завтра купить питательную смесь в аптеке. Суточный рацион смеси стоил двадцать пять процентов ее месячной зарплаты.

Зайдя в палату, она замерла от предчувствия, что это конец. Василиса лежала с пластиковой трубкой в ноздре, прилепленной лейкопластырем. Асбестовое лицо запрокинуто; глаза захлопнуты, и веки сморщились, будто цветки у белой лилии в поздних сумерках; скулы обострились... Через зонд ввели при ней сначала воду, потом отсосали какую-то жидкость, по цвету напоминающую чёрный кофе, после медленно стали вливать холодный куриный бульон, который она сварила, затем — какую-то питательную смесь. Она почему-то вдруг подумала, что этим кормлением ничего не изменишь, только измучаешь...



После кормления Вася вроде бы как задремала... Лидия Андреевна побежала домой варить бульон и обед своим мужикам.

Когда она снова пришла, то даже удивилась, увидев Василису. Вася лежала довольная и смотрела ожившими, похожими на небесные незабудки глазами: только сердцевинка у них была не жёлтая, а чёрная, как ночь... Как сообщила ей медсестра, через два часа после кормления зонд был выдернут через ноздрю... При этом, видимо, Вася раздрала себе весь пищевод, и рядом с подушкой расплывалось тёмно-коричневое пятно то ли желчи, то ли крови. Подушка была скинута на пол. Лидия Андреевна попыталась подложить подушку под голову. Вася резко дёрнулась и энергично замотала головой, будто вытряхивала из уха попавшую в него воду. И жалобно сказала:

— Меня хотели удушить этой подушкой. Уходи отсюда скорее, а то тебя здесь тоже задушат или убьют. Меня здесь мучают, забери меня отсюда, забери меня домой!

— Ладно. Завтра.

— Нет! Нет! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!

У Лидии Андреевны было состояние человека, идущего по тонкому льду, давно сковавшему реку; он внезапно начал хрустеть под ногами: ещё ничего нет, но уже знаешь, что дальше ступать опасно. Лёд трещит под ногой, точно случайно наступила на кинутую ребёнком под ноги пластмассовую погремушку... Ещё шаг — и откроется зияющая ледяная пасть, что проглотит тебя, словно акула замешкавшуюся рыбину... Она осторожно ступает по трещащему насту, зная, что половодье неизбежно: только бы успеть проскочить вовремя до схода снега! Чувство, что она буквально повисает между берегом, на котором копошится суетливая, давно набившая оскомину жизнь, и ледяным омутом, было настолько сильно, что Лидия Андреевна ничего не могла делать, сидела в кресле как парализованная, не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой.

## 23

**Н**а следующий день врач радостно сообщил, что Васю забрали в реанимацию. Лидия Андреевна облегчённо вздохнула. Она уш-

ла домой и впервые за несколько последних дней спала спокойно, видимо, взяла своё усталость, пригibasшая её к земле, как тяжёлый рюкзак. Ей всё время в последние недели казалось, что она идёт по просёлочной дороге своего детства, когда не было никакого асфальта, и ноги её обуты в высокие мужские сапоги, в которых обычно рыбачат, браконьерски шугая рыбу из прибрежных кустов в небольшую сетку, ботая по ним палкой... Сапоги увязали в размытой частыми и затяжными осенними дождями глине. Впечатление было такое, будто бы в эти сапоги положили свинцовые стельки. Ноги разъезжались, развезённое месиво наворачивалось на них — и она с трудом вытаскивала их по очереди из размякшей глины. А тут она будто провалилась в какую-то спасительную прохладу у голубого моря... По берегу шелестел ласковый ветер, сдувая с насиженного места песчинки, напоминающие ей о минутах... Минут было много... Время без конца и края. Песчинок было не пересчитать. Можно взять вспотевшими пальцами щепотку раскалённого песка, насыпать его в ладонь, легонько зажать в кулаке — и смотреть, как он медленно утекает тонкой струйкой сквозь прижатые друг к другу суставами фаланг пальцы. Нежно шептал прибой, как когда-то Андрей в их совсем недавней юности; лениво катались по песку волны, разглаживая и утрамбовывая осыпающиеся и непонятные вмятины, оставленные человеческими ногами... Она проваливалась так иногда когда-то в молодости, оказавшись на пляже... Очнёшься — и не можешь понять, то ли это был всего лишь кратковременный сон, то ли она действительно лежит у моря, бирюзового и полупрозрачного, убегающего своей спокойной глубиной в далёкое неизвестное.

Она очнулась от пронзительного телефонного звонка, поначалу приняв его за трель будильника. Трезвон безжалостно резал чёрное утро властным, требовательным визгом... До рассвета, до начала отбеливания сумрака, медленно обесцвечивающегося будто хлорсодержащими реагентами, было ещё далеко. Она вздрогнула и почему-то подумала, что звонок чем-то напоминает ей сигнализацию... И почему она этого никогда не замечала? Попав правой ногой в левую тапку, резко, точно

усевшуюся на ноги кошку, скинула её на пол и прошлёпала босыми ногами к аппарату.

— Лидия Андреевна! — сказали в трубке. — Два часа назад ваша дочь умерла. Вскрытие будет лишь в понедельник, а справка — только после двух часов дня. Тогда же вы можете забрать тело. Я уж не стала вам звонить ночью...

Нависавшая огромная лавина рыхлого, но тяжёлого снега в одно мгновение сползла с горы. Всё. Она оказалась замурованной в белой, обжигающей вековым холодом глубине, что залепила глаза, нос, рот и уши... Она неуклюже барахталась, пытаясь разгрести навалившуюся на неё ватную глыбу и как-то прорыть туннель к выходу, суча лапками с намотанной на них собственной паутиной, как паук, упавший в молоко.

## 24

На другой день после похорон Лидия Андреевна посмотрела на себя в зеркало и увидела измождённую старуху с нечёсанными волосами, удивительно напоминающими паклю, торчащую из стены в их старом деревенском доме. Но не это ужаснуло её: из зеркала смотрела её мать. Глаза ввалились, словно могилы после схода снегов; скулы обтянулись, будто пергаментом; под глазами — синюшные круги, будто пятна после кровоизлияния.

Лидия Андреевна не могла сказать, что она не спала. Спала, только вот просыпалась с одной и той же непереносимой мыслью, что проснулась, сон кончился, трясла головой — и возвращалась в свою голубую комнату, покрытую предрассветным сумраком. За окном была ещё чернильная мгла, летел клочьями разорванных писем белый снег. Она, буквально ковыляя одревеневшими ногами древней старухи, шла на кухню, шаркая шлёпанцами по паркету, будто натирая его. Наливала чайник и через силу начинала готовить завтрак своим мужикам...

На работе Лидия Андреевна совсем не могла сосредоточиться. Мысли разбегались, как выпущенные из морилки муравьи. Не слышала, что рассказывают коллеги и говорит начальство. Потом внезапно приходила в себя, возвращалась к реальности. Все мысли юлой елозили на том, что

и как она неправильно сделала. О происшедшем по молчаливому стовору не говорили...

Лидия Андреевна с удивлением обнаружила, что Андрей не только не мог защитить её от ледяных ветров жизни, хотя бы заключив в плотное кольцо своих рук, но и цеплялся за неё, как пьяный в зимний гололёд после отчаянной и неуместной оттепели. Ей и о месте и времени похорон пришлось договариваться самой. Муж отвечал всё время невпопад и говорил совсем не то, что подразумевал. Даже перепутал время похорон, когда обзванивал их знакомых.

Он приходил с работы всё позднее и позднее, ничуть не беспокоясь о том, как она справляется со своими невесёлыми думами. Лидия Андреевна несколько раз уже чувствовала резкий винный запах, окутавший мужа тошнотворным облаком. Дважды ничего ему не сказала, а на третий раз не выдержала:

— Ты что, пил? Я тут сижу дома, схожу с ума! Ты обо мне подумал?

Гриша был очень тихий и послушный, безропотно выполнял все её приказания.

Первые выходные пролетели в накопившихся домашних делах.

Между мужем и ею словно стена какая-то было воздвигнута из пуленепробиваемого стекла. На все её выпады и просьбы он почти не реагировал, она чувствовала вековой холод вечной мерзлоты, исходящий от этого остывшего серого камня, лежащего на берегу ревущего, всё взбаламутившего моря... Выплюнутые косточки от ягод, поржавевшие яблочные огрызки и размокшие окурки смятых сигарет, буро-зелёные перепутавшиеся нити водорослей и в сердцах оборванные поплавки. Волна разбивалась о камень, не успевший разогреться до того, чтобы зашипеть, разбрасывая свои пенные брызги, — и накаляющийся камень остывал, окаченный с головы до пят холодной водой, стоял мрачный и равнодушный. Только узкая трещина стекала по нему змейкой в море, незаметно становясь всё шире и глубже.

Он уходил в большую комнату, ложился на диван или садился в кресло, включив телевизор. Лидия Андреевна недоумевала, как так можно спокойно смотреть всю эту жвачку... Сама она не могла ни кино смотреть, ни слушать новости, ни читать. Ровно робот, она могла лишь пригото-

вить ужин или помыть посуду, зная, что мужчин надо кормить. Сама же есть она практически не хотела. За два месяца сбросила двенадцать килограммов, стала стройной, как девочка, влезла в свои старые платья, что лет пятнадцать тому назад были положены в материнский сундук у неё в деревне. В гробовой тишине поужинав и попив чаю, расхотелись по своим углам. Лидия Андреевна просто ложилась на кровать одетой, свалившись, будто подпиленное дерево, и лежала одна, закрыв глаза и пытаясь хоть на полчаса сбежать в сновидения от картин, зависших перед глазами, словно компьютерный вирус, пока муж смотрел в другой комнате очередной детектив.

Мысли вились над головой плотным роем, в котором нельзя было разглядеть ничего по отдельности, и гудели всё об одном... Верхний свет она не включала, лежала, зажегши бра, иногда приоткрывала глаза и начинала в который раз изучать взглядом трещины на потолочной побелке. Смотрела на длинные мохнатые тени на потолке, думая о том, что сейчас они с Андрюшей могли бы ждать внука и вскоре она могла бы стать бабушкой. Когда и что было сделано ею не так? Иногда она даже проваливалась в рваную исцарапанную киноленту сна, но через несколько минут приходила в себя, как от сунутой под нос ватки с нашатырём, просыпаясь на том же месте, откуда она рухнула в чёрную яму её короткого сна, не успев перенестись в красочный мир иллюзорной нереальности.

После смерти дочери у неё появилось ощущение, что всё скоро кончится. В любой момент что-то может произойти, что, словно смерч, разом сметёт возводимое с любовью годами. Землетрясение, цунами, взрыв. Она вспомнила, что это ощущение у неё уже возникало, когда она была молодой. Она была счастлива тогда. Их любовь с Андреем была в полном расцвете — а вот поди ж ты... Она тогда загадывала под Новый год такие желания: «Чтобы ничего плохого не произошло, чтобы никто не умер, чтобы все были здоровы». Состояние очень неустойчивого равновесия, будто стул на трёх ножках прислонили к стене: стоит ровно, но хорошо видишь, что сесть на него нельзя. Откуда тогда был этот подсознательный страх потерять ту безоблачность и лёгкость бытия, когда за спиной раскрываются неожиданно выросшие

крылья и ты паришь, глядя свысока на мышиную возню на земле, блаженно жмурясь от бьющего в глаза солнца? Может быть, оттого, что думала, что так не бывает, а оказалось, что бывает? А значит, всё скоро должно кончиться. Ведь не бывает же! Мечты не могут сбываться, на то они и мечты. Наши розовые иллюзии и погони за растаявшим светом пролетевшего метеорита, падение которого ты однажды увидел, сидя в тёплую августовскую ночь на дачном крыльце и глядя в таинственно мерцающую небесную бесконечность, в которой звёзд столько, сколько песчинок в пустыне... И сама ты такая же песчинка, перекатываемая ветром, только звёздам и песку предстоит пережить не одну тебя. И кто-то другой будет вот так же сидеть на крыльце и смотреть в распахнутое небо, жадно вбирая в себя холодный свет звёзд, словно изделие из фосфора, заряжаясь светом для люминесценции в угольной тьме мироздания...

Андрей всё больше молчал... Когда она его о чём-то спрашивала, он вздрагивал и переспрашивал: «Что? Что ты сказала?»

Он стал путать время и место. Так, например, мог спросить:

— Завтра утром поспим подольше?

Лидия Андреевна пугалась и говорила, что завтра ещё только четверг и до выходных ещё целых два дня.

Он стал очень рассеян.

Лидия Андреевна находила то масло в книжном шкафу, то книгу в прихожей, то молоток на подоконнике за занавеской... Он даже не искал пропавший предмет, поскольку, видимо, понимал, что занятие это совершенно бесполезно...

Однажды он включил газовую колонку, сдвинув чёрный шарик до самого последнего упора так, что колонка перегрелась и из неё дымовыми клубами пошёл пар, издавая звук, будто шипел целый переполненный питомник змей... А муж даже его не слышал. Лидия Андреевна, услышав это шипение, стремглав рванулась открывать воду, чтобы выпустить из радиатора пар. Но радиатор, видимо, всё равно не выдержал столь повышенной температуры, он долго отплёвывался рыжей кровью, перемешанной с чёрной мокротой, потом вода стала течь такой тоненькой струйкой, что колонка отказывалась зажигаться. Пришлось вызывать газовщиков.

Когда Андрей диктовал горгазу адрес, то почему-то назвал координаты своей работы. Хорошо, что Лидия Андреевна услышала, вырвала трубку и поправила мужа.

— Что у тебя с головой?

Андрей ничего не ответил, только, виновато улыбаясь, проследовал в спальню, понуро втянув голову в плечи и прижимаясь к стенке, будто хотел стать тенью и слиться с ней. Она видела, что Андрей очень сдал, как-то потемнел и покосился, будто старый гниющий дом с оседающим и проваливающимся столбом фундамента. Крыша у дома набекрень, козырёк, обросший мхом, навис над дверью, так что её не открыть... Дом замурован...

Лидию Андреевну ужасно злило, что муж совсем не готов её утешить, даже и не пытается. Более того, на любую её попытку с ним заговорить отвечал очень раздражённо, так что она разворачивалась, уходила на кухню и плакала, прижимаясь к лаковой стенке буфета, вдыхала химический запах, ещё больше раздражающий покрасневшие глаза. А ведь это была их общая потеря. Они должны бы стать ближе друг к другу, ведь их стало меньше, их круг стал уже, у них была общая боль, почувствовать которую никто лучше них двоих не мог. Их знакомые им сочувствовали, но находились они совсем в другом измерении... Им бы посмотреть в глаза друг другу, кинуться в объятия за утешением... Никто, кроме них двоих, не мог всё равно чувствовать ту боль, что была одна на двоих... Сочувствовали отстранённо, жалели, ужасались, но было это — как смотрят про авиакатастрофу по телевизору и думают, что с ними этого не произойдёт никогда. Она слышала шаркающие шаги Андрея внутри его незапертого дома с осевшей и заклинившей дверью, чувствовала, как он тяжело ступал и скрипел половицами, меряя шагами комнату, годы и свою потерю. Но приподнять нависшую над крыльцом крышу и приоткрыть хоть чуть-чуть дверь, чтобы можно было в неё бочком протиснуться, не могла, не было сил. Ему бы посмотреть в окно, увидеть её, понуро стоящую под осенним дождём, превратившим в ржавую скользкую глину твёрдую почву под ногами, толкнуть дверь изнутри, втянуть в отсыревшую и нетопленную комнату и, снимая с неё насквозь промокшую одежду,

отогревать своим дыханием. Но нет... Он не то чтобы упрекал её... По его отсутствующему взгляду, который вдруг темнел и начинал наливаться свинцовой тяжестью, когда он наткался на неё, она понимала, что он считает её непоправимо виноватой в случившемся.

Догадка о том, что всё может стать окончательным, бесповоротным и страшным, возникла острым приступом странного чувства пустоты, которое бывает при спуске в самолёте, когда ухаешь в глубокую яму и внезапная сосущая под ложечкой тошнота подкатывает под горло. Она упорно отгоняла от себя эту мысль, старалась не видеть, не замечать, как стараешься не замечать кружащих над сладким ос, понимая, что отогнать их невозможно, а махать руками — только можно хуже себе сделать.

Сын бывал дома всё реже, допоздна где-то пропадавал: им говорил, что в библиотеке после занятий. У него теперь была новая жизнь, новые друзья, возможно, появились и девочки. Лидия Андреевна как-то попыталась высказать сыну, чтобы тот не задерживался так долго, что время беспокойное и она очень волнуется. Сын исподлобья посмотрел на неё и буркнул:

— Это моя жизнь! Где хочу, там и пропадаю, отчитываться тебе не обязан. И сколько хочешь! Тебе Васи не хватило? Теперь за меня принялась? — хлопнул дверью и исчез за ней в своей комнате, врубил на полную катушку какую-то ударную музыку, от которой у Лидии Андреевны было ощущение, что ей на голову надели кастрюлю и колотят по ней половником.

Она хотела было заорать: «Хватит надо мной издеваться! Меня похоронить хочешь?», но почему-то крик застрял в горле, перехваченном спазмом, и никак не мог выпрыгнуть из перекрученной гортани. Лидия Андреевна молча удалилась в свою спальню, рухнула на кровать, засунула голову под подушку, чтобы по голове било не так сильно. Лежала и, как всегда в последние месяцы, смотрела на привычные трещинки на стене: как они становятся всё шире и неопределённой, размываемые хлынувшим ливнем слёз, чувствуя, что обессиливает и что усталость на неё уже навалилась, будто рухнувшая стена, вжимая её своими обломками в спасительное забытьё.

Через два месяца после смерти Василисы погибла собака. Погибла страшно. Андрей убил её

своими руками. Во время прогулки она неожиданно вырвала из его рук поводок и прыжками взбесившегося животного бросилась к прохожему, что вырос стремительной тенью из переулка, летевшей навстречу своей судьбе. Андрей не помнит, как он сумел выломать кусок бетонной поперечины, ограждающей палисадник с разбитым в нём цветником от пешеходно-проезжей части; не помнит, как уронил эту тягу на зверя, белевшего белым взерошенным медведем, вцепившимся в бедро юноши с почти детским лицом... Помнит только смертельную белизну этого перекошенного, будто insultом, от боли и страха лика; помнит мужской крик, вспарывающий ночную тишину и отражающийся звоном ломающегося голоса, налетевшего на стекла распахиваемых окон; помнит удивлённый и жалобный, оборвавшийся всхлипом визг кавказской овчарки, ничего не видящей вокруг из-за свесившейся на глаза шерсти, получившей предательский удар в спину, когда она так самоотверженно защищала своего хозяина.

## 25

Вчетверг Андрей пришёл с работы, сказал, что очень устал и обедать не будет. Сел в кресло. Включил телевизор. По телевизору показывали какой-то пустейший комедийный фильм. «И зачем он его включил? — подумала Лидия Андреевна. — Ведь он же не смотрит его».

Примерно через сорок минут Лидия Андреевна зашла в зал и нашла Андрея спящим в кресле. Она выключила телевизор и, крадучись, ступая по ковру по-кошачьи мягко, вышла из комнаты. Прошла метров пять, потом что-то заставило её вернуться. Она подошла к мужу. Внимательно посмотрела на него. Серое лицо оттенка заплесневевшей булки; чёрная роговая оправка, контрастирующая с ним, квадратная, как траурная рамка; почти безресничные закрытые глаза; чуть приоткрытый рот, обрамлённый синими мясистыми губами цвета недозревшей сливы... В кресле он сидел как-то странно: чуть-чуть сполз со спинки кресла, еле уместив ягодицы на самый его краешек. Голова свесилась набок, как кулёк. У Лидии Андреевны закололо сердце, будто его, как яблоко, решил подцепить сре-

ди опавших на землю листьев ёж, и она почувствовала, что нёсший её в неизвестность самолёт снова попал в воздушную яму. Она осторожно потрогала Андрея за плечо. Он никак не отреагировал. Она стала трясти его сильнее, сильнее, сильнее, словно вымахавшую в синь яблоню, пытаясь сбить с её высоких отягощённых ветвей плотные наливающиеся солнечным светом плоды. Андрей никак не реагировал...

— Гриша! Иди сюда! — пронзительно закричала Лидия Андреевна, разрывая тишину с шелестящим треском, будто старый шуршащий болоньевый плащ, зацепившийся за гвоздь...

Лидия Андреевна бросилась звонить в скорую. Появившаяся через полтора часа скорая помощь диагностировала смерть, вероятно, наступившую от инфаркта, и вызвала перевозку.

## 26

Это было странно... Все бывшие друзья Андрея ушли из её жизни вместе с ним. Ей больше не звонили их общие друзья. Больше всего её поразило то, что, когда она написала о том, что Андрея больше нет, старому приятелю их семьи, который был его самым близким другом на протяжении лет пятнадцати, а потом исчез из их жизни, женившись и уехав преподавать в другой город, тот ей просто не ответил. Приятель этот когда-то был сильно влюблён в неё, и он нравился ей больше Андрея (но в жизни почему-то очень часто так получается, что мы проживаем свою единственную жизнь не так и не с теми, кого любили). Уехав из их города, он присылал иногда весточки из своей жизни, которые становились всё реже и реже, пересыхая, будто ручей, что не то чтобы сходил на нет, а просто ушёл сейчас глубоко под землю... Это её так потрясло, что она отправила второе письмо, заказное, но снова не получила ответа... Теперь предположить, что письмо просто не дошло до адресата, было нельзя... Лидия Андреевна справлялась через своих общих знакомых о приятеле и хорошо знала, что он здравствует и заведует кафедрой в маленьком подмосковном городке, стал доктором наук и весьма преуспевает, так как является ещё и замдекана платного факультета, где учились в основном иностранные студенты.

С чего это она решила, что в одну и ту же реку можно вступить дважды? Но ведь она и не собиралась вступать в эту полноводную реку, в которой можно было легко утонуть, если не умеешь плавать на глубине. Да и плавать она за жизнь научилась. В молодости — это была шумная и быстрая горная речка, которая могла сбить с ног, оглушить, больно ударить до синяков и крови о камни, но утонуть в которой было нельзя. Глубины не было. Теперь река была равнинная и спокойная. Течение было сильным, плыть против него было невозможно; даже если и попытаешься это сделать, то всё равно будет сносить вниз, только гораздо медленнее. Значит, надо просто расслабиться, беречь силы и наслаждаться цепкими объятиями до тех пор, пока не почувствуешь, что силы на исходе и пора подгрести к берегу. Нет, она не собиралась вступать в эту реку. Так, осторожно потрогать мизинчиком ноги, который тотчас подберётся под стопу, словно у цапли нога, и снова ступишь на песок, утрамбованный и укатанный мелкой волной от проносащихся мимо быстрокрылых судов. Проворно побежишь на сухое, оставляя глубокие, но недолговечные следы, храня в себе ожог от воды, ещё не нагревшейся после таяния снегов.

Нет, она совсем не думала вступать в эту реку. Но почему тогда ёкнуло и забилося сердце, рванувшись вперёд и налетев на оконное стекло? Почему ей тогда показалось (ну не лги хоть себе!), что она ещё может быть счастлива с тем, с кем у неё были общие воспоминания? Что будет в её жизни ещё широкая грудь, в которую можно уткнуться, заклёбываясь и задыхаясь от плача, вдыхая сладкий запах свеженаглаженной для неё рубашки, которую она уже насквозь промочила своими горячими от нестерпимой боли слезами? Она отчётливо помнит пьянящее ощущение юности, когда можно было легко рвануть навстречу любимым и близким, ничуть не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Ну и пусть предчувствие счастья было сильнее, чем само счастье, но ради пьянящего ветра с юга стоит жить, даже если знаешь, что рано или поздно ветер сменит своё направление, и будешь поднимать воротник, чувствуя холод, заползающий змеёй под пальто, всё ближе к сердцу.

Но река равнодушно текла теперя мимо, закованная в бетонные берега... Закатанный се-

рый асфальт заканчивался чугунной оградой — воду даже нельзя было зачерпнуть протянутой к ней ладошкой, перегнувшись через решётку... Не дотянуться. Река спокойно несла свои воды, качая на месте буёк солнечного отражения твоей юности.

И всё же Лидии Андреевне нестерпимо хотелось увидеть Фёдора. У них были общие воспоминания. В её жизни не так уж много было людей, с кем у неё были общие воспоминания. Но чтобы выжить, надо уметь создавать иллюзии: они порхают, как бабочки, над твоей головой, так, что кажется, что ты слышишь шелест их крыльев. Вот одна мягко опускается на твой висок — и ты вздрагиваешь от неожиданности, пытаешься смахнуть её ладонью. Скользнула шёлковым крылом по ресницам — и всё, нет её, улетела. И только еле видимая дорожка пыльцы на твоей ладони говорит, что она была — упорхнула, ускользнула, лови не лови — не догонишь. А иногда сами бабочки летят на яркий огонь и, перед тем как сгореть, мечутся, ослепнув, по комнате, то и дело натываясь, как птица на стекло, на твоё лицо — и ты пугаешься этих мохнатых лап на нём и размаха теней от крыльев на стене.

А у неё все бабочки полегли лапками вверх, обжёгшись о лампу, и похожи на мусор с потолка...

Когда они познакомились, Фёдор был начинающим журналистом и работал в молодёжной газете. Это был интеллигентный молодой человек, на одиннадцать лет старше Андрея. Помимо литературы, молодой человек ещё увлекался фильмами, которые с чьей-то нелёгкой руки называли «элитарными»: они практически не попадали на советский экран, но имели всякие награды международных фестивалей. Для журналистов иногда устраивали закрытые просмотры таких фильмов, и Фёдор частенько приглашал на них Андрея. На таком просмотре она и встретила впервые с Фёдором. Смотрели Бергмана. Чёрно-белая философская притча «Седьмая печать» о жизни и смерти.

В основе сюжета лежала средневековая легенда о Рыцаре, который встречает Смерть и узнаёт, что жизнь его на исходе. Он спрашивает себе короткую отсрочку, желая понять, в чём смысл и оправдание его жизни. Смерть предстаёт там в облике белого клоуна, который разговаривал, играл в шахматы и, в сущности,

не таил в себе ничего загадочного... Рыцарь играет со Смертью в шахматы, пытаясь отыграть себе отсрочку... К своей игре со Смертью Рыцарь возвращается на протяжении фильма, прерывая несколько раз свою партию. Но тщетно, Смерть не переиграть. И в этот момент приходит озарение, смысл или возможность его обрести через спасение новых, невинных и влюблённых друзей Рыцаря, радующихся самой возможности жить, любить, растить детей, с которыми Рыцарю было так хорошо и покойно.

Лидия Андреевна почему-то вспомнила этот фильм сейчас. Ей тоже пока дают отсрочку, но зачем? Шахматная партия её не закончена, но уже проиграна, можно делать ход ферзём, но все аккуратно выстроенные ею по клеточкам и стоявшие ровными рядами фигуры давно полетели и валяются ненужным хламом на столе... Можно сделать ещё несколько движений, но шах и мат... они видны любому стороннему зрителю. Где и в чём была её ошибка? И почему, если Бог есть, он оставил ей пустоту?..

...Вышли из кинозала в распахнутый майский город, задыхаясь от радости, что так неожиданно пришло тепло и вся жизнь была впереди: лежала как на ладони, вернее, была сама ладонь со всеми её морщинками и чёрточками. Видно, что линия жизни длинная, а остальное разгадать не можешь. Как наскальный рисунок, выкопанный из-под многовекового слоя пыли. Рисунок отмыли и отреставрировали, но это только сделало загадку ещё более таинственной.

Шли по шумной центральной улице; поднялись на крышу старого храма, на которой власти почему-то решили сделать небольшую кафешку, где кормили такими малюсенькими пончиками, что они напоминали фасолины, насквозь промасленными и сладко хрустевшими своей поджаренной корочкой, и увидели старую площадь, усыпанную цветным горошком людей...

Фёдор рассказывал им о режиссёре и о том, какой глубокий смысл тот заложил в свой фильм. Лида слушала и в глубине души удивлялась, как так можно всё понять и разгадать. Прямо не фильм, а чемодан с двойным дном и кодовым замком! Замок видишь, а двойное дно нет. У неё от фильма осталось чисто эмоциональное потрясение, ожог до волдырей, всё болит, мокнет и не заживает.

Лида боковым зрением посматривала на этого высокого красивого молодого человека и чувствовала, что внутри неё зарождаются странные и пугающие её чувства, вырастающие, будто подснежники из-под только что сошедшего снега, когда ещё нет никакого намёка на зелёную шелковую траву. Подснежники вытягивают свои шеи, словно желторотые мокрые птенцы, к весеннему солнцу.

Приятель Андрея был явно его умнее и интереснее. Речь его завораживала, словно огонь в камине: смотреть бы и смотреть, чувствуя, как по телу распространяется успокаивающее тепло. Огонь весело облизывает высохшие ветки прошлой жизни, норовя забросать искрами половицы у открытой дверцы... Раздави ногой скорее, видишь вон ту, что упала слишком далеко, не на металлическую подкову! Зачем стоишь и смотришь, как медленно чернеет краска на половице, поднимая ещё еле различимую струйку дымка?

И вот уже у Лидочки ёкает сердце, будто она оступилась и легит кубарем вниз с осыпающегося под ней обрыва, на дне которого притаилась прошлогодняя листва. Впрочем, откуда у Лидочки может быть прошлогодняя листва? Деревья только ещё выбрасывают клейкие копыя своих листочков... Вся жизнь пока — невспаханное поле, поросшее молоденькой травой, по которому идти и идти... И так хочется прийти к другому концу поля не утратившим своих детских иллюзий о том, что жизнь прекрасна и ты обязательно отыщешь свой цветик-семицветик, чтобы загадать самые несбыточные желания. И они однажды сбудутся. Только надо понять, какие желания для тебя главные.

Но Фёдор нравится ей всё больше. Он взрослый и такой загадочный, в отличие от хилого Андрея, похожего на растение, которое запрятали в подпол, подальше от яркого света. Андрюша же совсем мальчик. Она почему-то всё ещё воспринимает своих ровесников как детей. Ей казалось, что и Фёдор симпатизирует ей. Было только одно «но»... Фёдор был женат, имел пятилетнего сына и жил у тёщи.

Однажды Андрей позвал его на шашлыки на дачу в их маленькую студенческую компанию. Было очень весело. Ребята наперегонки бежали в лапах: кто быстрее добегит до дерева и вернётся обратно. Фёдор бегать отказался.

Сидел в их веселящейся компании, то и дело взрывающейся фейерверком света. Был в толпе, но где-то далеко, смотрел отсутствующим взглядом на серебящееся рыбной чешуёй искусственное море, в котором купался оранжевый буёк заходящего солнца, казалось, что он будто мерил шагами расстояние до этой береговой черты... Но по пробегающим по лицу теням, словно от света, выскальзывающего из светящихся заплаток быстро сменяющихся окон бегущего состава, поняла, что он не на воду смотрит, а куда-то в своё прошлое, куда нет хода никому...

А потом он взял в руки гитару... И сердце заныло в тревожном предчувствии, что она, будто никудашный бродяга, увлекаемый русалочьим пением, попала в невидимые тенёта, что натягивают с замиранием сердца и боязнью, что рыба проплывёт мимо, но рыба уже попала и запутывается в них всё больше, погружаясь в неизвестность. Это она — звезда, что должна гореть в чёрной пустоте вечности, освещая дорогу сбившемуся с пути. Это об их несбывшемся: «Белой акации гроздь душистые ночь напролет нас сводили с ума...» Голос уплывал под чёрный купол неба, сердце сжималось в предчувствии боли, глаза всматривались до спазма и лёгкого головокружения в медленное перебирание струн... Почему-то подумалось: «Чем виртуознее скрипач, тем слаще скрипка стонет...» Несбывшееся выросло, словно зачатый ребёнок, но она знала, что родиться ему не суждено, и от этого слёзы наворачивались на глаза — и они блестели в темноте, словно роса на распахнутых цветах.

Она же будто зацепила в бинокль его взгляд и медленно приближала и увеличивала смутное пятно лица. Он был чем-то похож на врубелевского демона. Те же смоляные кольца волос, пружинящие на плечах, и в которых так и хочется запутаться длинным нежным пальцам, перебирая волосы, словно струны гитары. После она ощутит их упругую жёсткость молодого барашка на своей груди. Те же чёрные, будто тлеющие угли, глаза, от порывов ветра внезапно разгорающиеся притягивающим и завораживающим свечением. Не твани ладони — обожжёшься, точно от внезапного первого поцелуя... После она долго будет вгля-

дываться в блестящий антрацитовый их омут, разглядывая в них своё отражение и удивляясь ширине раскрывшейся диафрагмы зрачка, почти перекрывшего карюю радужку, будто прошлогодний лист из-под сошедшего снега.

А пока все галдели и веселились, нанизывая на шампуры кусочки мяса или ломтики хлеба, их глаза встретились... Молчаливый поединок... Кто первый уронит тяжёлые веки и начнёт сверлить свои старенькие измочаленные кеды? Не выдержала она. Опустила мохнатые ресницы, прогоняя стоявшее перед глазами видение. Тёмный магнит зрачков, неудержимо затягивающий в свой омут. Вот она уже барахтается в нём, пытается подгрести к берегу... Ещё рывок, ну ещё рывочек... Неудержимо тянет вниз, туда, где тёмная глубина и влажный зелёный свет, еле просачивающийся на дно сквозь толщу воды. Она безудержно молотит руками по ускользающей от неё поверхности, разгребает толщу воды изнутри, задыхаясь и сплёвывая воду. Сердце бешено стучит, будто у убегающего от погони, кровь прилила к лицу, как после горячего глинтвейна с мороза... Силы на пределе, внутри дрожь, обморок и покорность: пусть всё идёт как идёт... поезда сходят с рельсов под откос, а птицы путают время года и не летят на юг, оставаясь ждать продолжения лета.

Зачем он глядит на неё таким пугающим её взглядом, которым Андрей никогда не смотрел?

— Позвольте, сударыня? — протянул ей вместо шашлыка маленький букетик из красных бусин земляники, перепутанных с белыми неприязательными цветами.

Пальцы зацепились за пальцы, замешкавшись и медля расстаться. Отдёрнула руку как от ожога, чувствуя ватную слабость в ногах. Выдохнула еле слышно:

— И есть-то жалко. На грудь бы приколоть.

Начала медленно обрывать спелыми губами сочные ягоды по одной, смакуя и разглядывая зелёные воротнички, потерявшие головы...

В то лето ничего не случилось. Расстались, разбежались каждый по своим маршрутам, в свою отдельную жизнь. Через год она вышла замуж за Андрюшу. Среди близких приглашённых друзей Фёдора не было.

Появился он в её жизни позднее, когда стала



она мужней женой. В один серый осенний вечер, когда осень перестала швырять золотые монисты листьев, взяла телефонную трубку, когда Андрея не было дома.

— А... старый знакомый голос... — сказали в трубке. — Приятно слышать.

И опять, будто по шпалам, часто застучало сердце, грозя сойти с рельсов. Мир качался, точно одежда, повешенная в вагоне...

Увидела она его через год. У себя в квартире. Пришла с работы — и услышала знакомый голос. Сердце подпрыгнуло, будто камушек, брошенный на мостовую, и покатилося вниз, под уклон. Зашла в гостиную, где гостя поили чаем, чувствуя, как краска приливает к лицу, словно щёки её с мороза оттаивают в жарко натопленной комнате.

— А, сколько лет, сколько зим!..

Сидела почему-то на краешке стула, всматриваясь в незабытое лицо и вслушиваясь в мягко обволакивающий, будто пена для душа, голос. Мыльные пузыри весело переливались всеми цветами радуги, качали на солнце своими перламутровыми боками, стремительно надувались и весело лопались искрящимся смехом.

Лидочка ощущала себя обворожительной принцессой из сказки, что сквозь все пуховые перины обволакивающей беседы упрямо чувствовала пробивающуюся горошину изуча-

ющего взгляда. Взгляд этот тревожил и будоражил, не давал заснуть в тёплом семейном гнёздышке. Перины разговора перестилались одна за другой, но горошина, покатавшись по комнате, неизменно возвращалась на примагничивающее её место.

А за окном был май. В балконную дверь, недавно освобождённую от белых бумажных наклеек, насвистывая, заходил погостить майский воздух, пропитанный одурманивающим запахом черёмухи с ноткой вишнёвого цвета. Занавеска на двери надувалась тугим парусом, погнавшим яхту по завораживающе светящейся дорожке к кромке горизонта. Оранжевый шар абажура, похожий на гигантский экзотический плод, раскачивался от сквозняка, будто мартышка на лиане, отбрасывая на стены неровно дышащую тень. Было тревожно и легко одновременно, словно летишь на воздушном шаре: тебя весело тащит ветром в неизвестность, всё становится маленьким и почти невидимым; а тревожно, оттого что понимаешь: ветер может внезапно измениться и кинуть тебя на остроконечные пики деревьев, тянущие к тебе свои ветки, будто щупальца осьминога.

*(Окончание следует)*



### **Галина ТАЛАНОВА**

*(настоящее имя Бочкова Галина Борисовна)*

*родилась в г. Горьком.*

*Окончила Горьковский госуниверситет,*

*кандидат технических наук.*

*Поэт, прозаик. Автор шести книг стихов:*

*«Годовые кольца» (1996); «Ожидание чуда» (2001);*

*«Подобие дома» (2006); «Жизнь щедра» (2007);*

*«Душа любви открыта» (2009);*

*«И за воздух хватаясь руками...» (2011).*

*Стихи публиковались в таких изданиях,*

*как «Литературная Россия», «Новая газета»,*

*«Роман-журнал. XXI век», «Юность»,*

*«Север», «Созвучье муз» (Германия), «Истоки» и других.*

*Лауреат литературной премии журнала «Север» (2012).*

*Член Союза писателей России.*

*Живёт в Нижнем Новгороде.*

